Александр Шуйский
СКАЗКИ И ИСТОРИИ

стража красного винограда

К черной арке ворот вел мост. Когда-то под ним, видимо, был ров вокруг городской стены, но теперь из пологого склона росли деревья, их золотые по осени листья щедро устилали мостовую. И остатки стены, и ворота густо заплетал виноград.

Сама арка давно уже не помнила ни запоров, ни решеток. Была она двойная, правильными одинаковыми полукругами на рядах массивных колон. Единственным отличием левой арки был знак – круг с перечеркнутым человечком. У правой, прислонив табурет к полосатой будке, сидела художница. Во всяком случае, в руках у нее были кисти, тряпка и палитра. Завидев путника, она замахала тряпкой: иди, мол, справа, не видишь – знак висит.

Путешественник охотно пошел на приглашающий жест. Всех вещей при нем был только заплечный мешок, но куртка и обувь выдавали опытного пешехода, готового к любой погоде. Сейчас, по солнцепеку и штилю, капюшон куртки был откинут, а молния расстегнута. Из внутреннего кармана то и дело высовывалась усатая узкая морда и шевелила розовым носом.

- Привет, - сказал путешественник художнице.

- Привет-привет, - охотно отозвалась она. – Ты в город? Проходи здесь.

- Конечно. А почему там нельзя?

- Потому что там для трамваев.

Путешественник оглянулся. Никаких рельсов в проеме арки не наблюдалось. Он вопросительно глянул на художницу. У художницы было смуглое лицо и половинчатые волосы – видимо, не меньше года назад она их покрасила в рыжий цвет, а потом они отросли, так что рыжина поднималась только до висков, а дальше были черные корни. К тому же, черная часть волос была прямая, а рыжая – вилась мелким бесом. Глядя на его недоумение, художница расхохоталась, да так, что путешественник тоже не выдержал, и улыбнулся.

- Ну, раз ты в город, то плати за вход! – объявила она. – Тебя как зовут?

- Нас, - поправил путешественник и достал из кармана шиншиллу. – Путешественник Феликс.

Художница притихла и протянула руку к розовой мордочке. Шиншилл тут же спрятался – девушка оттирала кисти, и пальцы сильно пахли скипидаром.

- Так ты со зверем, - сказала она. – И кто из вас кто?

- А когда как, - ответил путешественник. – Мы на оба имени отзываемся.

- Ну, значит, сейчас Путешественник будешь ты, а Феликс – он, - быстро решила художница. – Потому что тогда платить за вход тебе, а ему пусть повезет.

- Ладно, - согласился Феликс и полез за кошельком. – Сколько стоит вход?

- Ты можешь отдать пригоршню своей крови, можешь отрезать и отдать волосы, - я это обычно девушкам предлагаю, но раз у тебя такой хвост, можно и так, - быстро перечислила художница. Помолчала секунду, глядя из-под половинчатой челки, и добавила: - А можешь отдать за вход своего зверя. Или ничего не давать.

Феликс так и застыл с кошельком в руках.

- То есть как это?

- Вот так. Как решишь.

- А деньгами нельзя?

Художница закатила глаза к небу.

- Что, все спрашивают? – сочувственно поинтересовался Феликс.

- Нет, деньгами нельзя. Либо то, что твое, либо то, что считаешь своим, либо ничего.

- А если ничего, тогда что?

- Из ничего и будет ничего, - рассмеялась художница. – Входи за так, хорошая гостиница налево от Черного моста через площадь Мальтийцев. Располагайся.

Феликс внимательно оглядел девушку. Она, утратив к нему всякий интерес, вернулась к оттиранию кистей. Может, просто разыграла? Ни официальной таблички, определяющей размер платы за вход и даже вообще необходимость какой-либо платы, ни шлагбаума, ни вертушки. Только полосатая будка в торце ряда толстых колонн между двух арок.

«Разыграла», - окончательно решил Феликс, а вслух сказал:

- Ну, я пошел.

- Хорошо тебе тут погостить, - отозвалась художница как ни в чем не бывало.

Черный мост нашелся сразу – он был пешеходный и явно самый старый из тех пяти, что просматривались с горки от ворот. Рекомендованная гостиница называлась «Старый Рыцарь», на латунной доске у входа красовалось четыре звезды, и Феликс смутился. Не то чтобы у него не было денег, но тут наверняка захотят не меньше 70 евро за ночь, а он привык жить гораздо скромнее. Хотя, с другой стороны, туристический сезон давно прошел, почему бы не зайти и не спросить.

Едва он подошел к стойке, портье выложил перед ним ключ и подтолкнул регистрационную книгу.

- Здравствуйте ваш номер двадцать восемь распишитесь вот здесь пожалуйста, - в одно слово выпалил он. И добавил уже не такой скороговоркой: - Завтрак с восьми до одиннадцати, бар, кофе и чай – круглосуточно. Если пробудете дольше трех дней, вам полагается от отеля бутылка вина с местных виноградников.

- Простите, - сказал Феликс, когда обрел голос, - но сколько стоит номер на одного?

- Триста евро за ночь или ничего, - без улыбки ответил портье. – Завтрак и напитки включены в стоимость.

- Триста или бесплатно? – на всякий случай переспросил Феликс. Портье кивнул. – У вас тут что, неделя карнавала?

- Да нет, у нас всегда так, - ответил портье. Посмотрел на гостя с сочувствием и предложил: - Если хотите, оставьте вещи, побродите по городу. Номер будет за вами до полуночи. Найдете что-нибудь другое – позвоните вот по этому телефону, отмените бронь и скажете, куда доставить вещи.

Феликс взял белую визитку с мальтийским крестом и пробормотал слова благодарности. Он обошел пешком полмира, бывал во множестве городов и гостиниц, но еще нигде ему не предлагали платить за привычные вещи втридорога или брать даром. Так или иначе, предложение погулять по городу налегке ни к чему его пока не обязывало, поэтому он оставил рюкзак в маленькой кладовой в фойе (там на стеллаже уже были чьи-то сумки и чемоданы), еще раз сказал «спасибо» и вышел.

Река делила город надвое, обычно это означало, что старая часть с непременной пешеходной зоной находится на одном берегу, а новый, современный город – на другом. Но здесь старый город был так велик, что раскинулся на оба берега. Крепостная стена, ворота и замок венчали вершину холма, с него узкие крутые улочки сбегались к Черному мосту, а за рекой снова расходились лабиринтом улиц и площадей. Дома стояли очень плотно друг к другу, жилая их часть начиналась со второго этажа, а цоколь занимали большие галереи, а то и просто арочные проемы, так что часто какая-нибудь боковая улочка начиналась прямо из-под дома, ныряя под анфилады арок. В галереях и дворах располагались сувенирные лавки и рестораны, от них тянуло запахом кофе, свежей выпечки и жареного на углях мяса, и Феликс подумал, что неплохо было бы что-нибудь съесть.

Он выбрал себе кафе поскромнее, уселся в углу и стал дожидаться меню. А, дождавшись, немедленно посмотрел на колонку цен. Еда стоила астрономических денег, но рядом с трехзначными цифрами везде имелась черточка-дробь, а после нее стоял ноль. Феликс пролистал все, вплоть до винной карты (в ней цифры были четырехзначные).

- Готовы сделать заказ? – поинтересовалась над ним девушка в форменном синем фартуке.

- Пожалуйста, кофе и яблочный штрудель, - сказал Феликс. – И, простите, что означает ноль после каждой цифры?

- Можете не платить, - отозвалась девушка.

- Совсем не платить? – уточнил Феликс.

- Конечно. На ваш выбор! Один кофе и один штрудель, верно?

- Да, спасибо.

Девушка ушла. Толстяк за соседним столиком, в белом льняном костюме и щегольской белой шляпе, внезапно подмигнул Феликсу так интимно, что тот поежился.

- Я говорю – первый день в городе, а? – пояснил толстяк.

- Да, - сказал Феликс.

- Халява! – радостно заявил толстяк, ничуть не заботясь о том, что его голос слышен на все кафе. – Тут всюду – халява! Не хочешь – не плати ни цента! Я тут уже неделю живу – и все бесплатно! На всю жизнь бы остался, да виза кончается.

- Спасибо, - сдержанно сказал Феликс. – Я уже понял, да.

- Ну и молодец! Не тушуйся, тут внатуре все задаром. Я первый день тоже стеснительный ходил, а потом – ничё, пообвыкся! Штаны еле сходятся!

С улицы раздался автомобильный гудок.

- О! – сказал толстяк. – Мое такси приехало. Бывай!

Он подхватил свой плащ, протиснулся к выходу, скрежеща стульями, еще раз подмигнул Феликсу и скрылся за дверью. Девушка принесла чашку эспрессо, сливки, воду и сахар.

- Простите, - сказал Феликс, краснея. – А можно мне заплатить за что-нибудь одно? Потому что на все у меня просто не хватит денег.

- Конечно, - сказала девушка. – Платите, за что пожелаете. Только знаете, на вашем месте я бы все-таки поела. У нас прекрасные омлеты. Хотите?

- Хочу, - согласился Феликс. – Только штрудель тоже. Там орехи, а у меня – вот.

Он отогнул полу куртки и продемонстрировал шиншилла.

- Ой! – обрадовалась девушка. – Ну, орехов-то я ему принесу отдельно!

После сытного обеда шиншилл забрался в капюшон куртки и заснул, а Феликс снова отправился бродить по городу.

Несмотря на середину осени, город был полон туристов. Они толпились перед башней с огромными астрологическими часами, где каждый час над кругом зодиакального циферблата проходили апостолы, а смерть отрывисто звонила в колокольчик, - динь-динь, динь-динь, - пока всех не прогонял петушиный крик. Они заполняли переулки и площади, кафе и магазины. Феликс шел наугад, почти уверенный, что ходит по кругу, но как раз тогда, когда он ожидал снова увидеть перед собой башню с часами, переулок нырнул под низкую арку и вывел его на городской рынок.

Рынок занимал длинную и широкую по меркам старого города улицу. В два ряда стояли зеленые прилавки, на них чего только не было. Фрукты, конфеты, засахаренные орехи; куклы, магниты, керамические кружки с видами города; акварели в цветных паспарту, одинаковые до такой степени, что Феликс заподозрил качественную ксерокопию; мед, кожаные сумки, снова фрукты. И везде на вопрос «сколько» звучала одна и та же фраза: либо называлась несопоставимая с сувениром сумма, либо предлагали брать даром. Кто-то шарахался, кто-то пытался торговаться, кто-то просто глазел, ничего не покупая, а кто-то сгребал, не глядя, в сумку все, что попадалось на глаза. Проходя мимо супружеской пары, только что унесшей половину прилавка кукол и ажурных деревянных конструкций, Феликс услышал женский голос: «Все, больше никак. Двадцать килограмм на чемодан. Может, попробовать посылкой?» Муж молча сопел под тяжестью сумок.

Но были и те, кто платил. Они долго приценивались, выбирали из приглянувшихся вещиц одну, без которой уйти было уж совсем немыслимо, после чего выкладывали деньги и уносили коробку с тщательно упакованной безделушкой. Феликс следил за ними краем глаза. Один, обретя желаемое, внезапно пустился бежать, оглядываясь через плечо. Девочка-подросток, купившая стеклянного ангела, дошла до ближайшей лавочки, достала вещицу из коробки, посмотрела сквозь нее на свет – и вдруг запела по-немецки, высоким бесполым голосом, какой можно услышать только по большим праздникам в кафедральном соборе. Молодая пара, овладев миниатюрной моделью астрологических часов, ушли, тесно прижавшись к друг другу. Феликс проследил за ними до переулка. Завернув за угол, они раскрыли зонт, вместе взялись за ручку и не то убежали, не то улетели с такой скоростью, будто их подхватил ураган.

Феликс вернулся к рынку и купил себе хурмы. Один оранжевый плод обошелся ему по цене клубники в середине декабря, но он и не думал торговаться. Прямо у него за спиной оказался фонтанчик, Феликс вымыл свою добычу и съел ее в три укуса. Хурма была невероятно спелой и сладкой.

В конце одного из переулков прозвенел трамвай, Феликс умылся в фонтанчике и пошел на звук. Трамваев в городе было чуть ли не больше, чем машин, они разъезжали буквально повсюду,

то и дело ныряя под низкие арки, проскальзывая под домами, как корабли под мостом. На каждой остановке имелась схема городского транспорта, по ней было так же просто рассчитать нужный маршрут, как по карте метро в каком-нибудь мегаполисе. Феликс долго рассматривал цветные линии, наконец выбрал трамвай, который, если верить схеме, шел через весь старый город, пересекая то один мост, то другой, а конечную остановку имел у замка на холме.

Не успел Феликс обернуться от схемы, как из-под очередной арки веселым дельфином вынырнул синий от рекламных картинок трамвай и встал на остановке, как раз четырнадцатый маршрут. Феликс вошел и немедленно столкнулся с кондуктором.

- Юридический факультет! – пробасил кондуктор. – Следующая остановка – Центральный вокзал. Желаете заплатить за проезд?

На Феликса уставились прозрачные серые глаза. На лбу у кондуктора было темное родимое пятно, а передвигался он немного скованно, каждый жест делая всем телом, Феликсу даже почудилось, что он слышит не то скрип, не то хруст.

- Да, - ответил он. – Сколько?

- Билет на сорок минут - десять евро, на два часа – 20, - ответил кондуктор. Голос у него был низкий гулкий, словно ветер дул сквозь горлышко кувшина. – Но можно не платить.

Феликс порылся в карманах и набрал как раз пять монет по два евро. На шее у кондуктора висела большая плоская жестянка с прорезью и сумка с билетами двух цветов. Он, как клешней, зажав синюю картонку между большим пальцем и краем ладони, выдал Феликсу билет, принял в плоскую горсть монеты и ловко высыпал их в жестянку. А потом, похрустывая при каждом шаге, направился к кабине вагоновожатого. Феликс переложил шиншилла из капюшона в карман, сел у окна и принялся глазеть на город. Трамвай мчался по улочкам, закладывая лихие виражи на поворотах, и Феликс не сразу заметил, что он не делает остановок, а в салоне, кроме него самого, никого нет. «Видимо, тут остановки по требованию», - подумал Феликс, и в тот же миг трамвай резко затормозил.

- Ваша остановка! – прогудел кондуктор.

- Но ведь сорок минут еще не прошло, - возразил Феликс.

- Билет действителен на все маршруты, - ответил кондуктор. – Еще полчаса. Но эта остановка – ваша.

Феликс кивнул и встал. Ему было даже интересно, куда это привез его синий трамвай. Он вышел, за спиной закрылись двери, трамвай тренькнул и сгинул за углом.

Никакой остановки здесь не было и быть не могло. На узкой улице умещалось только два ряда трамвайных рельс да кромка тротуара, где взрослый человек мог пройти чуть ли не боком, прижимаясь к сплошной стене. Стена тянулась справа и слева, без единого окна, с редкими ребрами контрфорсов. Такими стенами огораживались когда-то городские монастыри. Но со стороны тротуара в стене были ворота – кованые, ажурные, на тройных массивных петлях. Одна створка была открыта, а за воротами просматривался сад, так что Феликс, недолго думая, пошел по дорожке из мелкого белого гравия.

Дорожка упиралась в круглый лабиринт из живой изгороди. Вдоль боскетных кустов росли платаны, на них, несмотря на октябрь, еще были листья, зеленые, но уже сухие. Время от времени в сад залетал ветер, и тогда листья шуршали с таким звуком, будто кости стучали о кости. Шиншилл проснулся, вылез из кармана и забрался хозяину на плечо, забившись под волосы.

Феликс шел по кругу в зеленом лабиринте, время от времени узкий проход расширялся в круглую площадку, в центре которой стоял отдельный куст, подстриженный в виде сложной фигуры. Здесь были дамы в бальных платьях, кавалеры в пышных париках, зеленые львы, припавшие на передние лапы. Лабиринт, видимо, завивался по спирали, потому что ни одна фигура не повторялась дважды.

Внезапно кусты расступились, и Феликс оказался в розовом саду. На мгновение у него закружилась голова от сильного, густого запаха роз, заполнявших каждую пядь маленькой круглой площади. Солнце садилось, сад накрывала тень, но розы пахли так, будто вокруг стоял июльский полдень. Они росли кустами, они карабкались по решеткам и аркам, они обвивали деревянный павильон в центре площади. Вокруг не было ни души, только слышался птичий щебет да время от времени где-то рядом душераздирающе кричал павлин. Феликс, как зачарованный, шел среди роз.

В павильоне кто-то сидел. Грузная фигура, закутанная в темное бесформенное пальто или в шаль, было не разобрать. Феликс заметил ее слишком поздно, когда подошел уже почти к самым ступенькам. При его появлении фигура шевельнулась и превратилась в старуху. Седые вьющиеся пряди выбивались из-под ее платка, лицо цвета старого дерева покрывала сеть тех морщин, которые образуются только за долгую, очень долгую жизнь, полную звонкого смеха, поэтому когда ведьма махнула ему – подойди, мол, - Феликс улыбнулся и подошел. Когда она ему махала, у нее на запястье звякнул колокольчик.

- Леденцы! – сказала старуха. Глаза у нее были ясные и очень светлые, словно выгоревшее синее небо. – Леденцы на палочке. Возьмешь штучку?

Она и в самом деле сжимала в руке букет из цветных, как витражные стеклышки, леденцовых ключей. Они сияли, как драгоценные камни и пахли самым лучшим запахом детства – ванилью и жженым сахаром.

- Сколько же стоят ваши леденцы? – спросил Феликс, надеясь, что ему это по карману. Он даже уже выбрал себе один – ярко-рубиновый ключ, точную копию того, который был изображен на гербе города.

- Один поцелуй молодого принца, - рассмеялась старуха. – Или бери так.

Феликс остановился.

- Я не могу, - сказал он.

- Не можешь, так не можешь, - ответила старуха, будто согласилась – да, действительно, не можешь, что ж поделаешь. - Но тогда тебе нужно идти очень быстро. Через десять минут сад закрывается. А тебе еще через лабиринт. Знаешь, что? Если ты пойдешь вон по той аллее, - она махнула рукой с леденцами, - ты выйдешь ко вторым воротам, они гораздо ближе. Ну, беги!

Феликс почему-то послушно развернулся и побежал. Вслед ему раздался звон колокольчика – динь-динь, динь-динь, - и Феликс еще успел подумать, что он где-то уже слышал этот звук. Аллея провела его через все круги лабиринта насквозь и закончилась у небольшой калитки все в той же стене. Солнце село, на город быстро опускались сумерки, и когда Феликс оглянулся на сад, тот был уже неразличимой темной массой зелени. Феликс пошел вдоль стены, и шел до тех пор, пока в конце улицы не показались фонари. Он пошел на свет и оказался на большой площади, сразу за ней начинался мост, и Феликс сообразил, что вышел совсем близко от «Старого рыцаря». Шиншилл завозился у него на плече и осторожно укусил за мочку уха.

- Пойдем-ка, брат, в гостиницу, - сказал ему Феликс. – Интересный у нас с тобой получился день.

Утром, едва позавтракав, Феликс отправился на поиски вчерашнего сада. На стойке в фойе ему выдали карту. С одной стороны на ней был весь город, а на другой – укрупненный план старых районов. Водя пальцем по нарисованным улицам, Феликс пришел к выводу, что под сад с розами могут подходить по крайней мере три места. Все три зеленых пятна были расчерчены дорожками, но ни один из рисунков даже приблизительно не был похож на круглый лабиринт.

И тем не менее, стоило ему сойти с торной «туристической тропы» и свернуть к первой же глухой стене, как он нашел едва заметную калитку, а за ней – сад с лабиринтом. Как и вчера, в саду никого не было, но, с другой стороны, не знай Феликс, что калитка открыта, а за ней – городской сад, он бы, наверное, прошел мимо низкой деревянной дверцы.

Уже вступив в лабиринт, Феликс увидел, что за ночь сад изменился. Кусты казались ниже, вчерашние площадки заполняли геометрические фигуры из живой изгороди, любопытные, но не более того. Ничего общего с королевским двором, встретившим его на закате. Розарий, хоть и цвел поздними осенними розами, но тоже был гораздо меньше и беднее. Никакого павильона посреди него и в помине не было.

Феликс обошел розарий, присел на скамейку, разложил карту и прикинул кратчайший маршрут до ворот на холме. По всему выходило, что либо над ним шутил весь город, либо художница и не думала его разыгрывать. Оставалось надеяться, что она сидит у полосатой будки каждый день, а не оказалась там случайно.

Художница действительно сидела у полосатой будки и деловито смешивала оттенки красного на огромной деревянной палитре. Она явно пыталась добиться яркого, сочного цвета и

результат ее явно не устраивал, потому что она все давила и давила на тюбик с кармином, постоянно подмешивая его к общему тону и озабоченно цокая языком.

Завидев Феликса, она замахала ему, как старому приятелю.

- Эй, Путешественник и Феликс!

- Здравствуй, - сказал Феликс, подойдя поближе. – Что ты делаешь?

- Пытаюсь подобрать цвет для винограда. Он должен быть красный, а не серо-буро-малиновое черт-те что.

- Я тут бродил по городу, - осторожно сказал Феликс. – И, знаешь, все предлагают либо брать так, либо назначают очень высокую цену. Даже слишком высокую. Вот как ты мне сказала, когда я спросил, сколько стоит вход, помнишь?

- Конечно, помню.

- Но почему еда и сувениры – за деньги, а вход – за кровь или волосы?

- Потому что сувениры – это просто сувениры. А за еду и ночлег как-то нечестно кровь требовать, правда? Но все настоящее имеет свою цену, и это – не деньги, иначе какое же оно настоящее.

- Значит, пока я за что-то не заплачу, оно не настоящее? – рассмеялся Феликс. – И город тоже?

- Ну, скажем так, настоящее – это настоящее. Настоящий город немножко отличается от просто города. – Она прищурилась и с удовольствием добавила: – Совсем немножко. Есть то, что есть, и есть то, что есть на самом деле. Чувствуешь разницу?

- Не очень, - признался Феликс.

- Ну, может, еще почувствуешь.

Феликс замялся.

- Слушай, а вот если бы я согласился заплатить за вход, то, ну, скажем, на что вот тебе моя кровь?

- Виноград покрашу, - ответила художница и мотнула головой в сторону густых плетей на стене. – Подмешаю к этому убожеству и покрашу наконец. Октябрь заканчивается, а он все зеленый.

Феликс вдруг разозлился.

- Я серьезно спрашиваю. Если бы я знал, что...

- Что твоя кровь пойдет в фонд страдающих детей Африки, то немедленно выдал бы мне два литра? – ехидно поинтересовалась художница. – Ты вот что. Если хочешь не спросить, а услышать какой-то конкретный ответ, ты меня, пожалуйста, предупреди. Так и говори: хочу знать, что моя жертва послужит благородным и гуманным целям. Я что-нибудь придумаю.

- И все равно покрасишь виноград? – рассмеялся Феликс.

- Как получится. Это ведь будет не совсем плата за вход. Ну то есть что-то и пойдет на дело, но большая часть пропадет на вранье. На вранье вообще много уходит, так что я стараюсь не врать по возможности.

Сзади послышался звон, и Феликс обернулся.

К левой арке подъехал трамвай. Художница тут же бросила палитру, вскочила на ноги и побежала к передней двери. Трамвай снова оглушительно зазвенел, и о чем привратница говорила с вожатым, Феликс не расслышал, да и не старался.

Он решительно направился к вагону и заглянул ему под колеса. Колеса стояли на рельсах. Феликс дошел до конца вагона, разбрасывая листву – под трамваем виднелась блестящая, накатанная колея. Она продолжалась еще какое-то время после вагона, а потом исчезала, сливаясь с узором на темной брусчатке. Узор изображал две стежки, выложенные белыми камнями, как раз по ширине рельсов, так что невозможно было различить, где кончается камень и начинается металл. Трамвай прозвенел еще раз, вздрогнул, закрыл двери и уехал в арку ворот. Порыв ветра взбил листву под ногами, сверху свалился целый ворох свежих золотых листьев, перемешался со старыми в маленьком вихре. Когда все улеглось, Феликс снова раскидал листья. Никаких рельсов не было, только мостовая из черных и белых каменных квадратиков. Феликс распрямился. Рядом, засунув руки в карманы короткой курточки, стояла художница.

- А с трамваев ты тоже берешь плату за вход? – спросил Феликс.

- Конечно, - ответила та. – Но у тебя этого нет.

Она с интересом посмотрела на него, а потом спросила:

- Что, ты все-таки за что-то заплатил? Хотя бы деньгами?

- А как ты определяешь?

- Ну, трамвай-то ты видел. И рельсы.

- А что, если бы не заплатил, то не увидел бы?

- Вряд ли.

Феликс помолчал, покачался с носка на пятку.

- Слушай, а вот если бы... если бы я отдал тебе при входе моего зверя? Что бы я увидел в городе?

- Годзиллу, - почему-то устало ответила художница.

- Я серьезно.

- Ах, серьезно. Ладно, серьезно. Скажи-ка мне, что за выставка в галереечке сразу у моста?

- Выставка? – задумался Феликс. – Что-то я там не помню никакой выставки.

- Ну, может, музей.

- А! Музей! Там какой-то лаз под башню, и большой плакат: «Музей истории пыток». И нарисовано что-то душераздирающее. Я не пошел, уж больно несерьезно все это выглядит. Как в луна-парке.

Художница отвернулась. Ее лицо совсем скрылось за завесой волос, как за рыжей тучей.

- Не буду я тебе говорить, что бы ты увидел, - сказала она через плечо. – Я не люблю брать зверей. Но не спросить не имею права. Раньше, бывало, и детей отдавали. Не отдал – и молодец. Проехали.

Феликс снова помолчал, потом пожал плечами, пробормотал «извини», - и пошел обратно в город. Небо затянуло тучами, в деревьях промчался ветер, и Феликс подумал, что лучше ему поторопиться, если он не хочет промокнуть.

Дождь нагнал его у замка, Феликс поспешно перебежал площадь и нырнул под какую-то арку. От арки уходила вниз улица-лестница с массивными перилами ровно по середине. Феликс огляделся в поисках кафе, но, увидев вывеску книжного магазина, свернул к нему.

Магазин оказался самый обычный – пирамидка новинок, стеллажи с книгами на всех языках мира, словари, альбомы. На полке с видовыми книжками и путеводителями Феликс нашел небольшой сборник: «Двадцать две легенды Города». Содержание обещало истории об алхимиках, рыцарях и котах-оборотнях, но никаких сведений о цене не стояло ни на задней стороне обложки, ни внутри. Феликс взял книгу и подошел к кассе.

За кассой сидел молодой человек в футболке с названием магазина. Он читал журнал, полный ярких фото последних новинок авторынка.

- Вот, - сказал Феликс, показывая книгу.

- Пожалуйста, - кивнул продавец, не отрываясь от журнала.

- Я хочу ее купить, - сказал Феликс с нажимом на слове «купить».

Молодой человек поднял голову.

- Ее цена – ваш сегодняшний сон, - предупредил он. – Или берите так.

Феликс растерялся.

- Но я не помню свой сегодняшний сон, - сказал он.

И тут же понял, что хорошо помнит.

Он стоял на самом верху башни с часами, перед ним расстилалось море черепичных крыш с островами башенок и шпилей, а внизу, с площади, поднимались вверх огромные воздушные шары, какие иногда запускают над городами по большим праздникам или чтобы прокатить туристов. Все шары были цветные, полосатые и радужные, но у всех, от гондолы к куполу, поднимались дополнительные треугольные полотнища, как косые паруса от бушприта. Полотнища крепились к реям у гондолы, где по три, где по пять-шесть, отчего шары были похожи на взлетающие корабли. И эти треугольные паруса были черные, как крылья воронов. На фоне цветных шаров это смотрелось особенно торжественно и празднично. В одной из гондол сидела художница. Ее шар плыл вверх от площади, она кидала вниз целые охапки золотых листьев, и листья разлетались вокруг, пока не заполнили весь воздух и площадь внизу, а художница бросала все новые и новые охапки. Внизу играл духовой оркестр, музыка, шары и листья плыли над городом. Феликс

подумал еще, что шары означают праздник, а паруса – траур, так и подумал, цитатой: «Со смешанными чувствами печали и радости, с улыбкой и в слезах», - и на этой цитате проснулся.

- Ну как, вспомнили? – спросил продавец.

«Да, - подумал Феликс, - я вспомнил. Это был самый прекрасный сон в моей жизни». Он кивнул, сглотнул слюну, скопившуюся под языком, и спросил:

- Если я его отдам, я забуду?

- Да, - ответил продавец, и Феликс, глядя на него, решил, что не так уж этот человек и молод, как показалось на первый взгляд.

- Хорошо, - сказал Феликс. – Я согласен. Я хочу эту книгу за ее цену.

Дождь так и моросил, и Феликс присел в одно из плетеных кресел у входа – в хорошую погоду они, видимо, стояли снаружи. Ему не терпелось посмотреть, что же он такое купил за то, чего уже не помнил. На мгновение его охватил приступ паники, такой сильной, что кровь зазвенела в ушах. Он раскрыл книжку, где придется, но ничего не мог разглядеть: текст и картинка сливались в пестрое пятно.

- Хотите кофе? – сказал продавец. – Покупателям бесплатно.

- Хочу, - кивнул Феликс, все еще глядя в разворот.

Звон в голове прошел, и Феликс понял, что смотрит на карту города. Карта была одновременно похожа и не похожа на ту, которая лежала у него в кармане. Красными знаками, с виду зодиакальными, были помечены определенные места, они располагались почти правильной окружностью, но их было гораздо больше, чем дюжина. Один из таких знаков приходился в точности на сад с лабиринтом, показанный на карте во всех подробностях.

Запах черного кофе отвлек Феликса от карты. Продавец поставил чашку на полку пирамиды с новинками, ободряюще кивнул и исчез за книгами. Феликс посмотрел на обложку. Название книги изменилось. Теперь оно гласило «Двадцать два ключа от Города». Содержание предлагало 22 главы, ни коты-оборотни, ни алхимики никуда не исчезли, но перестали быть главными персонажами. Углубившись в первую же историю, Феликс догадался, что каждая будет – либо об одном из ключей, либо самим ключом.

Феликс нашел историю о саде с лабиринтом (она была первой), где розы и фигуры из живой изгороди представляли императорский двор, внимательно прочел ее, но старухи с леденцами не обнаружил. В истории ключ вручался герою кустом-императором вместе с легендой о знаменитом алхимике-еврее и его глиняном монстре. Феликс перечитал историю еще раз, и отметил, что герой входит в сад на закате, в какой-то день «в разгар осени».

Получалось, что трамвай привез его прямо к одному из ключей. А Феликс отказался его выкупить, и кто знает, будет ли ему дана вторая попытка. С другой стороны, ключей обычно надо три, а то и вовсе один-единственный, может быть, это был просто не его ключ? Феликс посмотрел на стеклянную дверь магазина: дождь перестал.

Надо бы проверить остальные адреса, решил Феликс. Он допил кофе, отнес чашку к пустой конторке с кассой, сказал в пространство «До свидания, спасибо», - и пошел искать библиотеку, которая находилась, если верить карте, чуть ниже замка на холме.

Но на террасе, с которой должен был открыться вход в библиотеку, он нашел только небольшой ресторан. Феликс прошел через него насквозь и оказался в винограднике. Мощеная дорожка уводила вверх по холму, Феликс пошел по ней и в конце концов оказался у крепостной стены. В стене была новая дверца, очень похожая на калитку из розового сада, и Феликс вошел. Сразу от дверцы начинались ступени, они привели в башню. Башня действительно была заставлена книгами на всех ярусах, Феликс поднимался все выше, пока не оказался на круглой площадке. Когда-то она, видимо, была открыта всем ветрам, но теперь пространство между колоннами перекрывали застекленные рамы, превращая площадку в фонарь. В центре этой очень светлой комнаты стоял огромный, метра три в диаметре, глобус. Одно из окон было открыто, перед ним, на латунной колонне, смотрел в небо небольшой телескоп. Феликс выглянул наружу – тучи разошлись, выглянуло солнце. Сверху открывался великолепный вид на виноградники и крыши до самой реки. Феликс постоял еще, потом присел на подоконник и взялся за следующую легенду. Она отсылала на старое еврейское кладбище.

Так прошло еще три дня. Феликс ходил от одной отметки на карте до другой, и везде находил места, не обозначенные ни в одном из туристических атласов. Это были таинственные, полные загадок дома, расписанные призначными фигурами внутри и снаружи, это были темные аллеи с одиноким фонтаном в самом дальнем конце, а один раз Феликс забрел на старую винодельню, в подвале которой глухо ворчали огромные дубовые бочки. И нигде ему не встретилось ни одной живой души. И ни одного ключа он так и не нашел, хотя изображения их видел почти повсюду – на городских люках, на гербах и вывесках, на дверях и воротах, на картинах и фотографиях, которыми торговали художники на Черном мосту.

Странствуя в поисках неуловимых ключей, Феликс поначалу чувствовал азарт, будто попал в игру, правил которой еще не знает, но узнает очень скоро. Но правила так и оставались непонятны, тайники оказывались пустышкой, и азарт сменился недоумением, а потом и раздражением. Потерпев очередную неудачу, Феликс вернулся в то кафе, где завтракал в первый раз, - с тех пор он бывал здесь чуть ли не каждый день, и знакомая официантка уже приносила ему меню сразу с чашкой эспрессо.

Феликс глотал кофе и листал книгу, выкупленную за забытый сон. Он уже прочел ее раза три, поэтому сейчас просматривал страницы по диагонали, вглядываясь больше в картинки, чем в текст. Двадцать две истории рассказывали о двадцати двух ключах, ключи возвращали героя домой, в детство, из зимы – в лето. «Каждый камень мостовой, каждое окно пробуждало воспоминания», - прочел Феликс подпись под картинкой, на которой по сумеречному городу бежал кот-оборотень, а каждый дом смотрел ему вслед и каждый камень имел собственный облик.

Феликс внезапно почувствовал, что он тоже хочет знать эти камни по именам, слышать ворчание книг в пустых библиотечных залах, знать, о чем сплетничают розы за зелеными стенами лабиринта. Что даже по тайным городским тропам он до сих пор ходил туристом, тем, кто приходит всегда не вовремя и не видит того, что не описано в его путеводителе, даже если этот путеводитель – книга, купленная за сон. Что он хочет понимать, а не думать, что понимает.

- То, что есть, и то, что есть на самом деле, - сказал он вслух.

Феликс расплатился за кофе и отнес шиншилла в свой номер. Книгу он оставил на кровати. Карту тоже не стал брать. Выйдя из гостиницы, он пересек Черный мост, поднялся на холм с замком, перешел через площадь и вышел к двойной арке ворот. У ворот, сунув руки в карманы куртки, сидела художница и жмурилась на осеннее солнце. У нее на коленях дремал черный кот, - точно такой, как на картинке в книжке.

Феликс подошел к ней.

- Здравствуй, - сказал он.

- Привет, - отозвалась та. – Какие новости?

Феликс снял куртку и, стыдясь пафосности собственного жеста, стянул к локтю левый рукав свитера и закатал манжет рубашки.

- Я пришел заплатить за вход, - сказал он.

страница рукописи в день

Я вспоминаю все квартиры, в которых жил, как, бывает, вспоминают женщин. Эта смеялась так, будто в ней жил солнечный зайчик, та была немного мрачновата и строга, как монахиня, зато ее кухня всегда была полна изумительных запахов, окна можно было не мыть никогда, а одежда в шкафу лежала так, что никакого утюга не нужно. Еще одна, в далеком детстве, вспоминалась мне старухой, может быть, и бабушкой, но время от времени забывающей, что я - ее внук. Она бывала уютной особенным пожилым уютом, но бывала и чужой и страшной, с резким запахом лекарств и привкусом пыльной взвеси.

- Скажите, пожалуйста, вы писатель?

Я обернулся. Надо же, так увлекся, что не заметил, как мой текст читают через плечо. Вообще-то, когда я сажусь писать в кафе, я стараюсь устроиться так, чтобы в экран невозможно было подсмотреть. Но сегодня с утра за столиками на улице не было вообще никого, и я сел как попало, лишь бы экран не бликовал. И не заметил, как ко мне подсел этот дедок. Вопрос он задал очень вежливо, почти церемонно, и, когда я на него обернулся, разглядывал меня, а не экран моего лаптопа. Писал я по-русски, и вопрос, заданный мне, прозвучал тоже по-русски, хотя и с небольшим акцентом - ударение на первый слог и растянутые гласные. Но я уже привык к тому, что старшее поколение Праги почти поголовно очень хорошо знает русский язык. Поэтому ответил я тоже по-русски:

- Как вам сказать. Пишу я, во всяком случае, много.

Я взялся разглядывать его в ответ, сначала не без злорадства - обычно люди смущаются, когда их самих ставят в неловкое положение, - а потом с интересом.

Низенький, полноватый, седая шевелюра, гладко выбритое лицо. Белый льняной костюм по летнему времени. Загорелое лицо, множество мелких морщин - и ни одной глубокой, кожа сухая, как пергамент, очень чистая. И потрясающие, цвета июньского неба, глаза. Обычно с возрастом цвет глаз бледнеет, будто выгорает, особенно, если они серые или голубые, здесь же плескалась чистейшая синева, точно такая, как небо у нас над головами.

- Простите мое нахальство, но мне нужно было знать. Вот такое много пишете? - Он двинул головой в сторону экрана.

- Да, - ответил я, все еще глядя ему в глаза.

- Ничего особенного, лимон и погода, - сказал он фразу, которую я совсем не понял, поэтому переспросил:

- Погода?

- Конечно. Прекрасный летний день, на небе ни облачка, и вы уже второе утро сидите в этом кафе с ноутбуком, хотя раньше я вас тут никогда не видел. Приезжий?

- Да вот, путешествую.

- У вас очень хорошо про квартиры написано, - сказал он. - Вам есть, где жить?

То ли у этого человека очень интересная логика, подумал я, то ли чрезвычайно сложные ассоциативные ряды. Во всяком случае, обычно после фразы "вот это очень хорошо написано" следовал вопрос "а вы где-нибудь печатаетесь?" - или еще что-нибудь такое же банальное про писательскую кухню. Я настолько обрадовался и заинтересовался его неожиданным подходом, что решил ответить.

- Мне есть, где жить, - сказал я. - На ближайшие два дня я остановился в одном пансионе у Народного театра, - я махнул рукой в сторону реки. - Потом либо уеду, либо придумаю что-нибудь. У меня творческий отпуск, я птица вольная.

- У Народного, - фыркнул он. - Небось, модерн на набережной? Башенки-лепнина?

- Гораздо проще, кирпичная пломба. Но чисто и самый центр. Меня устраивает. Не всем же жить на Малой Стране.

- А хотели бы?

Я даже растерялся от такого напора. И насторожился. Видимо, у меня сделалось соответствующее лицо, потому что синеглазый старик поспешил меня успокоить:

- Я не аферист. Просто так получилось, что у меня есть ключи от мансарды вот в этом доме - и обширные полномочия от хозяйки. И даже, если хотите, просьба - поселить хоть ненадолго пишущего человека. Недели, скажем, на две. А тут я вдруг вижу вас в этом кафе. Я не мог не спросить.

Он еще с минуту смотрел на меня - в кои-то веки я совершенно не знал, что ответить, - и добавил с ноткой снисхождения:

- Вы не беспокойтесь, я профессиональный риэлтер. Вот на первом этаже моя контора. Если вы опасаетесь, мы можем составить договор по всем правилам, с печатями и прочим.

Я поднял глаза - действительно, в одном из окон первого этажа красовался стенд с предложениями купли и съема жилья. "Белая мельница" - перевел я название фирмы.

Две недели в квартире практически на Градчанах. Да еще и в мансарде. Ну, о цене-то я по крайней мере могу спросить, прежде чем отказываться?

Я открыл рот, но он меня опередил.

- Нет, не за деньги. То есть если хотите, можете оставить залог, я не буду против. Но на самом деле я хочу, чтобы вы там писали. Причем не как-нибудь, а от руки. Хотя бы страницу в день.

- Я буду жить за страницу рукописи в день? - переспросил я со всей иронией, на какую был способен. И даже бровь заломил вопросительно для пущего эффекта. Но мой потенциальный ленд-лорд оказался крепким дедом.

- Да, - просто сказал он. - Знаете, это практически традиция. В Париже на чердаки лезут, чтобы рисовать, а у нас - писать. Такой город. Вы знаете, что на Златой уличке долгое время снимал каморку Кафка? Нарочно приходил туда писать. Я-то вот поостерегся бы пускать к себе такого писателя, но этим, на Златой уличке, сам черт давно не брат, все впрок идет. Ну, что скажете? Что надо подумать?

Я молча кивнул.

- Это правильно. Да и съезжать вам рано еще, пансион-то оплачен, небось? Вот. Вы подумайте и приходите. Я тут целыми днями, если не здесь, то в конторе. Только писать надо будет обязательно от руки.

Через два дня я уже втаскивал свой чемодан по очень узкой лестнице с крутыми округлыми ступенями. Я, конечно же, зашел в контору "Белая мельница" и получил свой экземпляр договора - но сделал это скорее для очистки совести. Почему-то я был совершенно спокоен насчет обмана. К ноутбуку у меня был специальный шнур, которым можно было пристегнуть мой рабочий инструмент к батарее, как велосипед на стоянке. Всю важную информацию я залил на флешку. Паспорт и деньги были всегда при мне. В самом деле, что с меня взять? Футболку и старые джинсы?

В договоре на двух языках было прописано, что ближайшие пять дней я занимаю студию по такому-то адресу, арендная плата - не менее одной рукописной страницы стандартного размера. В крайнем случае, начну вести дневник, решил я. Но вообще-то за мной было несколько статей - две колонки на вольную тему и по крайней мере одна статья о Праге, причем что-нибудь интересное, а не то, что пишет каждый второй сайт путешествий, редактор мой мне так и сказал: "О пиве и Кафке не пиши, не возьму". Так что по крайней мере на несколько дней мне есть что записывать, а там посмотрим.

Пан Иржи - у моего синеглазого знакомца оказалось громкое имя, Георгий, - проводил меня в студию, выдал ключи и постельное белье, заверил, что на невысокий мой третий этаж добивает интернет из кафе, и оставил обживаться. Я сел за маленький стол при кухне и огляделся.

На самом деле мне несказанно повезло. Студия представляла собой совсем небольшую квартирку под самой крышей, кровать стояла так, что я заранее знал: утром с непривычки непременно стукнусь головой о скошенный потолок. Кладовка-гардеробная была больше ванной комнаты, на потолке чернели балки, черная же деревянная колонна торчала прямо посреди комнаты, подпирая перекрытия. Кухня вдавалась в крохотную нишу, а толщина стен была такова, что на подоконнике можно было устраивать диван, если забросать его подушками. И, самое главное, терраса. Она была чуть ли не больше самой комнаты, с нее открывался потрясающий вид на Кампу и кусок Карлова моста. Я немедленно вытащил на террасу два складных стула. Буду тут жить, решил я. Нужна страница - ладно. Хоть три.

Я съездил до магазина - ближайший был довольно далеко, но это вечный минус центра, ничего не поделаешь, - запасся кофе, йогуртами, хлебом, еще какой-то снедью, благо теперь у меня были плита и холодильник. Не то чтобы я люблю готовить, особенно в поездках. Но возможность сварить кофе в любое время дня и ночи - вещь бесценная. В этом смысле я маньяк, вожу с собой маленькую джезву и баночку специй, даже когда предполагаю жить в гостинице. Могу же я надеяться на лучшее, верно?

Я сварил себе первую порцию, сел за стол, раскрыл новую, купленную в том же супермаркете тетрадку и задумался. Одна из колонок, собственно, должна была быть о кофе, вернее, о том, где выпить кофе в Праге, и что это может быть за кофе. У меня на примете было уже три-четыре кафе, в одном просто хорошо варили все, во втором можно было взять превосходный эспрессо и вылить его в очень хороший шоколад, а в третьем варили кофе сразу с шоколадом и специями. И я взялся строчить. За годы работы на компьютере я совершенно отвык

писать руками, и первые полчаса у меня ныл локоть и чуть ли не сводило пальцы, но потом все как-то наладилось, я писал быстро, без помарок, нахваливал любимый напиток так и эдак, прокладывал маршруты по узким улицам, щедро сыпал корицу и тростниковый сахар, словом, увлекся и не заметил, как исписал пять страниц.

Дело между тем шло уже к вечеру, я перечел написанное, остался доволен и решил пойти поужинать. Можно даже к тем самым итальянцам, у которых водится пресловутый мезо-мезо - кофе на шоколаде. Помимо кофе у них были очень неплохие омлеты, а мне не хотелось ничего тяжелого.

Я поднялся с Кампы на мост, вышел людной улицей на маленький пятачок площади, зашел в кафе, сел, сделал заказ и в ожидании еды от нечего делать взялся разглядывать остальных посетителей. Их было немного.

И очень скоро я обнаружил, что смотрю, почти не отрываясь, на девушку в светлом, в крупный коричневый горох платье, с длинными пшеничного цвета волосами и лицом с плакатов Мухи - был у него одно время такой женский тип, широкие и высокие скулы, очень четко очерченный почти прямой низ лица, большие глаза, широкие темные брови и маленький нос с хорошо вылепленными ноздрями. Эти лица трудно причислить к классически красивым, но они запоминаются. Девушка занимала стол в самом углу кафе, там, где диванчик вдоль стены образует уютный закуток человек на шесть, за такими как правило сидят большие компании, но эта девушка была одна.

Перед ней в ряд стояло четыре разнокалиберных чашки, при мне официантка принесла еще две. Девушка с самым серьезным видом отпивала из каждой, как будто пробуя и сравнивая. Во всех чашках был кофе, можно было не сомневаться. Одна из чашек, стеклянная, была явно с латте. Девушка отпила из нее, облизнула губы, потом взялась за самую маленькую чашку, внезапно подняла на меня глаза и живейшим интересом спросила на очень чистом немецком:

- Как вы думаете, что будет, если вылить эспрессо в шоколад?

Я ошалело осмотрел батарею чашек и бокалов и внезапно выпалил:

- Это нужно делать не здесь, а в "Кафе-кафе". Это на Старом месте, через мост и к Прикопу.

- И там варят кофе-кофе? - улыбнулась она. И с той же улыбкой добавила: - Представляете, я всю жизнь живу в Праге, и ни разу не была по ту сторону от моста.

- Там варят прессо-прессо с шоко-шоко, - отозвался я. Потом хорошенько вдохнул и предложил: - Хотите, я вас провожу?

- Хочу, - сказала она очень просто.

И мы пошли через мост на Старое место, разумеется, самым кружным путем, какой я мог придумать. Мы взяли по бумажному стаканчику ристретто в крошечном "Ебеле" недалеко от набережной, углубились в город и продегустировали прессо в "Кофе феллоуз", качество которого определялось еще со взгляда на стойку: там, где на выбор есть корица, мед, шоколад и два вида сахара, уж точно знают толк в кофе, - и только после этого дошли до "Кафе-кафе", где и намешали эспрессо с шоколадом. А заодно и воздали должное их клубничному супу, "суп-суп без мяса-мяса", прокомментировала моя новая знакомая.

И болтали, болтали, болтали. Вежка - мою спутницу звали Вежка, и ей удивительно подходило это имя, произносишь - как будто охапку пшеницы в сноп вяжешь, - была местной уроженкой, всю жизнь прожила на Малой Стране, но превосходно знала немецкий, а я, признаться, предпочитал его вездесущему английскому.

Во-первых, на немецкий меня с трех лет натаскивала бабушка-немка, урожденная фрау Траум. Узнав, что ее ненаглядный фриц жив и сидит в Ленинграде военнопленным на работах, она помчалась к нему, да так и осталась в Советском Союзе, хотя участь ее жениха в итоге была незавидна. Поэтому говорить по-немецки для меня означало вспоминать бабушку, и я делал это так часто, как мог. А во-вторых, это был мой жест протеста против засилия английского. На нем хуже или лучше говорили практически все мои знакомые, и я чувствовал, что просто обязан отличаться от остальных. Я вообще люблю отличаться.

Домой я возвращался уже в темноте. Вежка рассталась со мной у того самого кафе, где мы встретились. "Приходи еще, - сказала она, - я часто здесь бываю", - помахала рукой и скрылась в темной арке. А я, уставший и ошалевший, поплелся к себе в мансарду, и только когда сел на

террасе с ночной чашкой кофе, понял, что ноги гудят, спина болит, а глаза слипаются, потому что я провел весь вечер на ногах - и едва это заметил.

Дело в том, что я терпеть не могу далекие прогулки. Больше всех экскурсий, всех рассказов, всех улочек и башен в поездках я люблю сидеть дома, пусть это дом всего на неделю. Я смотрю новости, болтаю с друзьями в чатах и на форумах, пишу свои небольшие статьи, пью кофе, иногда выхожу, чтобы пообедать в какой-нибудь приглянувшейся забегаловке. Зато уж дом этот должен быть в самом сердце города - чтобы доносились выкрики из ближайшей господы, чтобы вокруг черепичные крыши и запах дыма от печных труб. Таков для меня идеальный отпуск. (Идеальная работа отличается от него только тем, что я вместо статей я пишу коды и таблицы, а болтаю с сотрудниками. В работе я домосед еще больший - хотя бы потому, что в моем родном городе погода куда хуже, чем в большинстве городов Европы.)

А тут я крутил по городу четыре часа кряду, не чувствуя усталости. Да еще и со спутницей, которую видел впервые в жизни.

Все дело было в том, как Вежка слушала. Она вскрикивала, смеялась, восхищалась, размахивала руками. Ее серо-синие глаза горели, как у ребенка, которого взяли в Диснейленд. Она впитывала каждое слово, изумлялась тому, сколько я знаю, ни разу не выказала скуки или усталости. Ей было интересно решительно все, она шла по городу, как в сказке, доверчиво цепляясь за мой локоть и ахая именно там, где мне хотелось услышать восхищенное аханье.

Надо признать, что кружить с нею по Праге оказалось упоительно. У нее было поразительное чутье на всяческие тайные проход и дыры, она безошибочно определяла, какая арка выведет на соседнюю улицу, через какой двор можно пройти и какой переулок не кончится тупиком. Я увидел больше двориков и тайных садов, чем за все приезды в этот город, а ведь бывал здесь уже раз восемь или даже десять. Хотя, конечно, больше сидел в отеле, чем бродил по городу. Забавная из нас получилась пара туристов, думал я, засыпая: два домоседа, - она ведь сама сказала, что никогда не бывала по ту сторону реки, - которые внезапно взялись исследовать полузнакомый город и обнаружили в нем столько чудесных мест за один вечер, как будто оба приехали впервые.

Утро выдалось пасмурным. Я и в солнечные дни встаю долго, долго просыпаюсь, долго варю кофе, долго читаю всякую ерунду, которую успели понаписать за ночь и утро в соцсетях, кое-где оставляю остроумные, смею надеяться, комментарии - и только часа два спустя чувствую, что день действительно начался, хотя время обычно уже к двум, а то и к трем. А уж в пасмурный день мне требуется не меньше трех часов, чтобы сесть наконец за работу. Но сегодня дело пошло сразу.

Вчера, ныряя по дворикам и подворотням, я как раз придумал неизбитую тему по Праге: дома с необычными рисунками на фасадах. Дело в том, что в средние века нумерации домов, а тем более квартир, не существовало, и адрес дома определялся по рисунку на его фасаде. Особенно интересными, конечно, были фасады двух цветов: черный фон и белая штукатурка, процарапанная до фона, иногда в несколько слоев. Такой способ росписи фасадов называется сграффито, он был очень популярен в эпоху Возрождения, и в Праге сохранилось несколько уникальных образчиков. Вот по этим росписям домам и давали названия, самым известным был "У минуты" на Староместской площади, его знали буквально все, но вчера я заметил еще несколько. Тематикой рисунков может служить что угодно, но как правило это мифологические или библейские сюжеты, иногда - средневековая символика, в которой я неплохо разбирался.

Так что я для верности немного порылся в гугле, а потом сел за статью. Начал с дома "У минуты", продолжил галереей на Тынской площади, где "Суд Париса" соседствовал с историей Грехопадения и злоключениями Авраама, потом перешел к зданию дворца Шварценбергов, у которого расписаны даже печные трубы, так что кажется, будто все здание заплетено кружевами до самых карнизов и выше. Упомянул солнечные часы на Нерудовой - сова, петух и зловещее "Hora ruit" - время мчится. Поставил себе в заметки посмотреть найденный в гугле Мартиницкий дворец и еще одно здание, где-то на Градчанах, старый павильон для игры в мяч, судя по фотографиям, расписанный сверху до низу.

Вот и маршрут для сегодняшних прогулок, подумал я, глядя на исписанные страницы. Время уже было к пяти часам, я проголодался и решил проверить, действительно ли Вежка каждый день бывает в том кафе. Если ее там нет, думал я, что ж, пройдусь один.

Но она была. Как будто действительно нарочно поджидала именно меня. Мы выпили по чашке кофе, я галантно расплатился за обоих, и на пороге Вежка решительно взяла меня под руку.

- Вчера меня водил ты, - сказала она. - А сегодня поведу я. На Градчанах есть один дом, тебе непременно надо его увидеть.

И она повела меня прямо на Градчаны, к залу для игры в мяч с потрясающими сграффито, напичканными самой разной символикой вплоть до коммунистических серпа и молота, добавленных к ренессансному зданию шутниками-реставраторами в пятидесятых годах двадцатого века.

Вчера, когда я, написав о кофе, нашел Вежку за дегустацией моих рецептов, я не удивился, просто обрадовался, я люблю такие совпадения, они любят меня, психологи называют это "синхронистичностью", когда окружающий мир подсовывает тебе нечто очень созвучное тому, чем ты занят. Со мной это бывало сплошь и рядом, я уже относился к таким вещам как к чему-то естественному, с кем же еще и говорить этому миру, как не со мной, с такими, как я, готовыми пять раз до завтрака поверить в необычное.

Но второе совпадение за два дня? От градчанских садов мы пошли к Мартиницкому дворцу, на стенах которого Самсон и Геракл обращались со львами одинаково небрежно, хотя один был библейским персонажем, а второй - героем языческого пантеона, а феникс соседствовал с пеликаном, и по дороге я осторожно расспрашивал Вежку: как она думает, чем я вообще занимаюсь? Чем зарабатываю на жизнь? Какое отношение имею к архитектуре и не пишу ли часом путевые заметки?
Она рассмеялась.

- Ты еще вчера сказал, что пишешь, вот я и решила тебе немного помочь.

И я с облегчением выдохнул. Совпадения совпадениями, но не до такой же степени. Скорее всего, решил я, я вчера где-то обмолвился о том, что готовлю статью, и сам не заметил, просто думал вслух. Решил - и выкинул это из головы. До самого вечера.

Но вечером, дописав в своей мансарде статью по домам - сначала от руки, потом на компьютере, - я задумался. Писал я по-русски, а Вежка еще в самом начале знакомства, спросив, откуда я, сказала, что совсем не знает русского языка. То есть либо кто-то ей пересказывает мои тексты, либо я столкнулся с чем-то совершенно необъяснимым. Имело смысл сделать одну небольшую проверку, контрольный, так сказать, выстрел. С утра и начну, решил я и завалился спать - мы с Вежкой опять пробродили весь вечер, ноги гудели и глаза слипались, я едва нашел в себе силы умыться, и заснул, по-моему, чуть ли не по дороге к кровати.

Новое утро выдалось солнечным и теплым, поэтому я вынес на террасу небольшой стол из ротанга, вооружился третьей чашкой кофе и взялся строчить. Я решил записать что-то такое, чего Вежка никак не могла знать - какую-нибудь историю из моих школьных похождений, к примеру, то, как мы после выпускного не придумали ничего лучшего, чем всей компанией поехать на Новодевичье кладбище, воздавать должное светочам наук и искусств, втайне надеясь на призрака или хотя бы на собаку, которая вылетит на нас из тьмы и напугает до икоты, чтобы остаток ночи можно было потешаться друг над другом.

Ни призрака, ни собаки нам не досталось, фонариков мы не взяли, поэтому около часа бродили среди надгробий и старых семейных склепов, не в силах даже прочесть надписи, не то что опознать памятники. Потом нам это наскучило, а пиво еще оставалось, и мы вернулись к набережной, хотели пройти насквозь весь Невский, но застряли у эрмитажного фонтана, и до утра вылавливали из него мелочь, и между прочим, выловили довольно много, но и вымокли, конечно, с ног до головы. Открытия метро мы уже дожидались, практически засыпая на ступеньках подземного перехода. На выпускной весь город откалывает номера той или иной степени безумия, наши выходки были еще безобидны на общем фоне, так что мы мирно дождались первой электрички, а потом отсыпались чуть ли не сутки.

Все это я записал, как можно смешнее, с кучей подробностей и отступлений, ну и приврал кое-где, конечно. В целом получилось неплохо. Я перечел написанное и понял, что проголодался. Засобирался в уже знакомое кафе и на выходе из квартиры увидел вдруг огромное трюмо - оно стояло сбоку от входной двери так ловко, что в нем отражалась вся комната, разве что без

кухонного угла. Я точно помнил, что вчера днем никакого зеркала в прихожей не было. Видимо, днем принесли, решил я. После того, как я ушел. А вечером я мог по усталости не заметить и не такое.

Вежка пришла в кафе как раз тогда, когда я доедал сэндвич.

- Куда сегодня? - спросил я. - Может быть, на Вышеград?

Она охотно согласилась, и мы пошли по набережной до самого края старого города, к огромной крепости, которая до смешного напоминала мне Петропавловку, разве что у собора были две башни, а не одна.

Мы точно так же, как и два дня назад, шли через город и точно так же болтали, но что-то изменилось в моей спутнице. Если позавчера рядом со мной шел восторженный ребенок лет восьми, то сегодня это была молодая женщина, остроумная, иногда даже язвительная, как будто за два дня она повзрослела лет на двадцать. Несколько раз мне показалось, что она отвечает мне с каким-то даже снисхождением, как будто сомневается в том, что я знаю, о чем говорю. Поскольку темой была алхимия - мы же шли по Праге, - мне это показалось особенно досадным, ведь о пражских алхимиках я знал действительно очень много, гораздо больше, чем знает средний обыватель. Я непременно хотел ее удивить и соловьем разливался о трех стадиях магнум опус, когда она прервала меня так резко, как будто долго копила раздражение:

- Стадий было четыре. Ты забываешь о третьей, желтой. И целью был вовсе не философский камень, а полное, невероятное раскрытие собственной сути. Это потом уже все свелось к добыче золота и бессмертия. Когда люди хотят обмануть или обмануться, они всегда теряют какое-то необходимое звено, иначе обман не получится.

Тон у нее был до тошноты нравоучительный, и я бы обиделся, если бы не был так раздосадован сам на себя. Я-то излагал ей популярную версию, такую, какую выдал бы любой девушке, лишь бы заинтересовать. А она, оказывается, и сама неплохо владеет материалом, хотя про "желтую стадию" я слышал впервые. Интересно, подумал я, где она училась, что знает такие вещи.

Я оставил алхимию и завел разговор о школьных годах, она слушала с любопытством, но о себе рассказывать не спешила. Я увлекся, начал вспоминать учителей, а у меня было их много, как явных, так и косвенных, рассказал пару действительно смешных баек. Она хохотала так искренне, что я отругал себя за подозрительность. Вспомнил записанный с утра текст - и взялся его пересказывать, чуть ли не в лицах, гримасничая и меняя голоса.

Вежка вдруг изумленно всплеснула руками, как будто только что вспомнила о не выключенном утюге:

- Надо же! Эту историю про тебя я знаю.

Я замолчал и даже остановился, так что она успела пройти еще пару шагов вперед, прежде чем обернуться и заметить, что я остался сзади. Меня начали злить эти совпадения.

- Откуда? - спросил я. - Откуда ты ее знаешь? Мы видимся всего третий день, я не успел тебе ничего о себе рассказать. Откуда ты можешь знать обо мне такие вещи? Вежка задумалась, а потом пожала плечами.

- Просто знаю.

Оставалось задать один очень важный вопрос. Я собрался с духом и скороговоркой выпалил:

- Послушай, тебе не кажется, что все эти сведенья как бы, ну, появляются в твоей голове? Как будто кто-то берет и вкладывает все это готовыми кусками?

Она улыбнулась мне так безмятежно, будто я просил, не мешает ли ей солнечный свет.

- Кажется, - ответила она. - Еще как кажется.

- И тебя это совсем не беспокоит?

Она помолчала, явно раздумывая, говорить мне правду или отмахнуться.

- Меня немного беспокоит, что это, видимо, скоро пройдет, - сказала она наконец. - Но совсем немного.

- Но как так можно, - сказал я. - Это же вмешательство в личное пространство. Это неправильно. Так нельзя.

Она повернулась и посмотрела мне в лицо ярко-синими глазами. Я хорошо помнил, что вчера глаза у нее были серые, ну, может быть, серо-голубые.

- Что ж в этом такого неправильного? Все вкладывают что-то друг в друга. В твоей голове разве нет того, что в нее вложили другие люди?

- Мне никто ничего в голову не вкладывал, - сказал я с достоинством. - Я сам себе все вложил.

- И никогда не следовал ничьим советам? Никогда не делал ничего, что тебе просто велели сделать?

Мне нужно было обратить внимание на ее тон, серьезный и немного печальный, но я смотрел только в яркую, невозможную синеву глаз и не мог думать ни о чем, кроме того, насколько это чистый и яркий цвет.

- У тебя цвет глаз меняется, знаешь? - сказал я наконец, даже не расслышав ее последних фраз - что-то о воспитании.

- Это просто погода, - отмахнулась она.

Меня словно холодной водой окатило. Если она сейчас скажет "и лимон", подумал я, я решу, что меня зачем-то очень тщательно разыгрывают. А я, дурак, мистики себе накрутил. Ментальное воздействие, гипноз, дьявольские фокусы. Все оказалось гораздо, гораздо проще. И я спросил как можно небрежнее:

- Вежка, а ты случайно не знаешь пана Иржи, он живет на Кампе, у него еще контора называется "Белая мельница"?

- Конечно, знаю! - отозвалась она весело. - Дедушка Иржи, как же мне его не знать. Можно считать, у него на руках выросла.

Я был зол, я был в ярости. Меня все-таки разыграли. Посмеялись, провели, как ребенка. Даже не считают нужным это скрывать. Конечно же, старый мерзавец просто зашел ко мне, прочел записи, а потом пересказал их Вежке. Вот только зачем? И ведь тогда выходит, что самые первые записи он тоже должен был ей пересказать, а я хорошо помню, что встал, едва дописав, а когда пришел в кафе, Вежка уже вовсю дегустировала кофе. Мобильный телефон? Но ведь от дома до итальянцев два шага, нужно же было еще прочитать, рассказать ей, да успеть заказ сделать, да чтобы еще и принести успели. Мало где официанты настолько неторопливы, как в пражских кафе.

Я не понимал, что происходит и от этого злился еще больше. Представлял, как они хихикают где-нибудь вдвоем после наших прогулок, обсуждают меня, дурака. "Какой-то гребаный "Волхв", - думал я с непонятной горечью. - Какие-то гребаные эксперименты."

Но над кем на самом деле ставились эти эксперименты? Только надо мной, только над Вежкой или над нами обоими? И каким, спрашивается, образом? Если он просто рассказывает ей то, что я пишу, то только надо мной, но с какой целью? А если она сказала правду и воспринимает мои записи как просто сведенья, которые появляются у нее в голове, то каким образом он это делает? Гипноз, внушение, какие-то техники, о которых я не знаю? Воздействий на человеческий мозг столько, что я могу гадать до второго пришествия - и так ничего и не выяснить.

Оставалось понять, как действовать в этой ситуации. Подыграть им? Сделать вид, что ничего особенного не происходит? Всю дорогу до дома я пытался выбрать линию поведения, от которой мое уязвленное самолюбие пострадало бы меньше всего. И так ничего и не выбрал, только разозлился еще больше.

Поэтому когда за столиком кафе у моего дома я увидел пана Иржи, сидящего с газетой как ни в чем не бывало, я тут же подсел к нему, закинул ногу на ногу, попросил у официанта чашку капучино и только после этого удостоился внимания старого манипулятора. Он опустил газету, всмотрелся и с хорошо разыгранной радостью поздоровался. Ну конечно, подумал я, ты просто не заметил, что я подошел и сел. Ты совсем-совсем не поджидал меня тут весь вечер. И тебе совсем не интересно, как протекает мое совершенно случайное знакомство с твоей почти внучкой.

- Гуляли? - спросил он, оглядывая меня. - Как Прага? День-то вон какой выдался, только и гулять.

- Гулял, - ответил я. И тут мне в голову пришла отличная идея: пусть-ка скажет мне, кто принес в мансарду это гигантское зеркало. Пусть-ка только попробует отпереться, мол, не заходил и не читал мои записи. - Пан Иржи, вы не подскажете, откуда вдруг у меня трюмо в мансарде взялось? Хозяйка заходила? Она не ругалась на беспорядок - я постель бросил и вещи раскиданы?

И с удовольствием увидел, что он растерян и удивлен. Неужели думал, что я не замечу? Правда, оставался еще один вариант: я видел перед собой превосходного актера.
- Зеркало? - переспросил он.

- Да, большое такое, от пола до потолка, в огромной резной раме с полочкой, трюмо. Или это вы поставили?

- Нет, не я. Хозяйка, конечно, больше некому. Трюмо я к вам и не затащил бы, пожалуй, как вы думаете? - К концу фразы он уже улыбался. Эдак понимающе. Ах ты, старый лис, подумал я и решил сыграть ва-банк:

- Ну и ладно. А я, знаете, с такой чудесной девушкой в Праге познакомился. Мы с ней целыми днями гуляем по городу. И знаете, - тут я наклонился ближе и перешел на доверительный шепот, - мне кажется, что она каким-то образом узнает, о чем я пишу. Но ведь так не может быть, правда? Кстати, это ваша знакомая, ее зовут Вежка, и она говорит, что вас знает.

- Вежка мне гораздо больше, чем знакомая, - сказал он серьезно. Вот ей-богу, не знал бы, что он морочит мне голову, решил бы, что оказался втянут в череду удивительных совпадений, так комично он поднимал брови и таращил свои синющие глаза. - Зеркало, значит. Ну и ну. Знаете, Дима, я как бы в ответе за эту девушку. Она и в самом деле замечательная.

- Да, - подхватил я. Играть, так играть. - Пересказывает мне мои же истории. Подсказывает, что дописать к статье. Я тут статью писал о домах с фресками, так она мне такой экземпляр на Градчанах показала! Очень помогла.

Он закивал с явно преувеличенным энтузиазмом.

- Вот-вот, дома с фресками. Это замечательная тема, то, что надо. Как хорошо, что вы сами разобрались. А то я уже хотел вам сказать, о чем писать, то есть говорить с ней, ни в коем случае не нужно.

Так, подумал я, дорогая новая жена Синей Бороды, сейчас тебе дадут ключик. И старательно изобразил озабоченность.

- О чем же с ней не нужно говорить? Я бы лучше это все-таки знал, так, на всякий случай. А то вдруг выскочит.

- О человеческих отношениях. Понимаете, она в течение года была вынуждена наблюдать, как расходится одна молодая пара. С кошмарными скандалами, битьем посуды и оплеухами. Она очень переживала, замкнулась, перестала на улицу выходить. Вы не представляете, как я рад слышать, что вы гуляете целыми днями.

После этого он куда-то засобирался, быстро распрощался и ушел. На улице совсем стемнело, я расплатился, не допив кофе, и поднялся к себе.

Как же я был зол.

Кажется, никогда в жизни я не был так зол. Что ж, пане-панове, вы напросились, я вам устрою. Мало того, что я сейчас напишу самую душераздирающую историю развода, какую смогу выдумать, я еще и аккуратно вырву все листки из тетради, сложу их вчетверо и суну во внутренний карман пиджака. Тогда посмотрим, как вы их прочтете. Посмотрим. Даже интересно, что вы будете делать после этого. Был ваш ход, вы посмеялись. Теперь мой, и хорошо смеется тот, кто смеется в самолете, улетая из этого чертового города навсегда.

Я не спал полночи, выпил три чашки кофе и исписал семь страниц. Жили-были муж и жена, когда-то они очень любили друг друга, а теперь вот смертельно надоели. Оставил как-то муж на столе мобильный телефон, а жена возьми да и прочти все его эсэмэски за полгода. И совершенно ясно ей стало, что все эти полгода у мужа бурный роман на стороне, и золотко его новая любимая, и умница, и смеются они за спиной у старой жены вместе, сплетничают и обзывают ее по всякому. И все бы ничего, вот только жена к тому времени была уже на седьмом месяце. Взыграли у нее гормоны, закатила она вечером мужу несусветный скандал за все его задержки на работе и командировки, он не удержался, да и поколотил ее, сначала за руки хватал, а потом и отвесил пощечину, чтобы в чувство пришла. А она заботы не оценила и начала квартиру громить, посуду бить и подушки вспарывать. Вот тогда он приложил ее как следует, дальше падение, больница, жена осталась жива, а вот ребеночка спасти-то не удалось.

Если бы я не был так зол, я, наверное, написал бы им какой-нибудь выход, сказочный счастливый конец, оставил бы целой посуду и живым - ребенка, но я действительно очень сильно

разозлился, а бумага, как известно, все стерпит. Когда я встал из-за стола, уже светало. Я сунул тетрадь под подушку, лег и проспал до полудня.
Утром вся эта история не показалась мне ни лучше, ни забавнее. Я позавтракал кофе и банкой йогурта, перечел записанное и понял, что никогда никому эту запись не покажу, даже если эти двое начнут открыто смеяться мне в лицо. Настроение было самое паршивое. К обеду я уже не знал, чего хочу больше: чтобы попросили прощения у меня или просить прощения самому. Ужасно хотелось просто отсидеться дома, но я решил, что вот этого как раз делать не стану - и пошел все к тем же итальянцам. Тетрадку я, как и решил, взял с собой.

Я прождал Вежку весь остаток дня, вскидывая голову на каждое звяканье колокольчика у дверей. К вечеру мне стало окончательно ясно, что она не придет. Я откуда-то знал, что она в курсе моих записей - ну, может, не знал, а просто чуял. Я пил одну чашку кофе за другой, глазел на прохожих и чувствовал уже не злость, а глубочайшую обиду. В десять кафе закрылось, и мне волей-неволей пришлось идти домой.

На следующий день она тоже не пришла. Это был пятый день моей жизни в мансарде, и наутро мне нужно было съезжать.

Я собрал чемодан, застелил кровать, проверил везде, не забыл ли чего. На выходе из мансарды посмотрел в трюмо - в полутьме коридора нем отразилось какое-то смазанное белое пятно вместо моего лица. Я постоял, глядя в мутное стекло, а потом, оставив чемодан у двери, решительно спустился вниз. Я был уверен, что пан Иржи меня там уже поджидает.

Он действительно сидел за одним из уличных столиков, с неизменным пивом и газетой, но завидев меня, тут же свернул большой лист. Я молча сел, и какое-то время мы просто смотрели друг на друга. Вид у него был какой-то поблекший, даже глаза утратили пронзительную синеву, - собирался дождь, давление падало, так что даже я ощущал себя разбитым и невыспавшимся, хотя проспал часов десять, не меньше.

Наконец он сжалился и заговорил.

- Вы очень хорошо держались, - сказал он самым сочувствующим тоном, и я сразу понял, что сейчас будет "но", - но под конец не то чтобы все испортили, но, скажем так, исключили для себя участие в финале.

- Послушайте, - взмолился я, - сделайте что-нибудь. Соврите мне или наговорите утешительной ерунды, я совершенно извелся и постоянно думал о том, что принял участие в каком-то бесчеловечном эксперименте. И мне очень плохо жить с этой мыслью, понимаете?

- Вот замечательно, - рассердился он. - Как будто все эксперименты непременно должны быть человечными. А остальным что - пропадай?

Я, видимо, так и застыл с открытым ртом, потому что Иржи смягчился, похлопал меня по руке и добавил:

- Но все-таки этот эксперимент нельзя назвать совсем уж бесчеловечным. Вы-то в нем участвовали, и вы - несомненно человек.

- Вы меня нарочно запутываете, да? - сказал я. Мне было уже все равно - что полузнакомый человек видит меня таким жалким и сбитым с толку, что ответа на свои вопросы я, видимо, не получу и что Вежку больше никогда не увижу. Но одновременно мне почти до слез хотелось объяснения и я точно знал, что не уйду, пока его не получу.

- Я совсем не хочу вас запутать, - сказал он прежним мягким тоном. - Наоборот, всем будет лучше, если вы распутаетесь. Вы думаете, что вас разыграли, что над вами посмеялись и все это время водили за нос, но это не так. Я не сказал вам ни одного слова неправды. Просто я - дом. Вот этот дом. А Вежка - мансарда, в которой вы жили.

Он показал прямо на знак над центральным входом: там красовался барельеф из раскрашенной лепнины, святой Георгий, побеждающий дракона.

- И зовусь я "У Иржи", хотя раньше звался иначе. И про Вежку я вам не соврал. Вы, кстати, угадали до самых мелочей, вот только месяц был не седьмой, а шестой, а так все - слово в слово.

Я так и сидел с открытым ртом. И только и смог, что прохрипеть: "Как?"

- Как я прочел то, что вы никому не показывали? Я не читал. Но я говорил с Вежкой, она мне пересказала. Вы, пожалуйста, знайте: все у вас получилось. Видимо, вы все-таки настоящий писатель, раз все получилось всего за четыре дня, я-то думал, и недели не хватит.

Понимаете, это типично пражский способ, местная, так сказать, специфика: хочешь что-то оживить, вложи в него текст. В других городах иначе - а у нас вот так, что ж поделаешь. Мне-то уже больше четырехсот лет, видел я и пожары, и наводнения, я все переживу. А Вежку всего двести лет как надстроили, она молодая у меня совсем. Эта пара, про которую вы написали, здесь уже пятнадцать лет не живет. И никто не живет, Вежка никого не пускала. И сама не выходила, но штукатурка-то сыплется, я же вижу. Этой весной первый кирпич из карниза выпал. Ей бы жильцов - да никто не задерживался, все съезжали через месяц-другой. Вот я и начал пишущего человека подыскивать. И когда наткнулся на вас, подумал, что такую удачу упускать нельзя. Но всегда следует учитывать, что у этого города свои способы развлекаться, так что все пошло немного иначе, чем я предполагал. Во-первых, вы встретились. Вы пробудили в ней прежде всего любопытство, и это было замечательное начало. Но вы встретились, и она начала впитывать не только то, что вы пишете, но и то, что вы говорите. Когда вы сказали, что у нее появилось огромное зеркало, я очень забеспокоился - она уже взяла от вас очень много, но если человеку простительны плохое воспитание и дурной характер, то для дома это совершенно недопустимо.

- Что значит - плохое воспитание… - начал было я, но Иржи оборвал меня, и довольно резко:

- Сами на досуге подумайте, зачем человеку зеркало и на что он его использует. А еще подумайте о том, что как только вам что-то не понравилось, вы очень сильно разозлились. Сразу, не выяснив, что происходит. Выслушали меня - и сделали ровно так, как я просил не делать. А теперь представьте, что Вежка полностью оживает и начинает вести себя точно так же. Как вы думаете, что может натворить дом, который сразу очень злится, если ему что-то не нравится. Особенно, тот дом, в котором в данный момент живете вы. Вы причинили ей боль раньше - и это ее спасло. Но также это спасло и вас. Проснулись бы в горящей постели, например. Или балка сорвалась бы прямо вам на голову.

- Но ведь вы знали, - сказал я с горечью. - Вы же знали, что я так и сделаю.

- Я знал, что вы сделаете одно из двух: либо напишете нарочно, либо не станете писать об этом и напишете что-то другое. Я не очень разбираюсь в людях, с домами мне проще. Но начатое нужно было непременно закончить, а тут был вариант беспроигрышный: если вы напишете нарочно, желая причинить боль, Вежка опомнится и перестанет хотеть быть похожей на вас. А если удержитесь и напишете что-то другое, то, значит, не так уж плохо ей будет походить на вас, она, если что, тоже сумеет удержаться. Самое-то главное уже шло полным ходом - она стала живая, веселая, какой давно не была. Настоящие чудеса тем и хороши, что просто злостью их не спугнешь. Себя из них выкинешь, что правда, то правда, но тут уж что поделаешь. Так что это от вас оно сбежало, как некрепкий сон, а при ней-то осталось, она и сейчас бродит где-то в городе, говорила, что хотела с Анежкой о перекрытиях поболтать.

- Анежка - это Анежский кластер? - уточнил я, чтобы сказать хоть что-нибудь.

В одном я оказался прав: меня действительно водили за нос. Использовали. Втянули в игру, не рассказали правил, барахтайся, как сможешь. Я по-прежнему злился, но как-то вяло. Ведь мог бы сейчас бегать по городу в компании мансарды и монастыря, а вместо это сижу и злюсь тут. И самолет уже через четыре часа.

Иржи кивнул.

Я хотел еще спросить, ну почему же он не сказал мне сразу, и даже набрал воздуха, а потом махнул рукой.

- Я пойду, - сказал я. - У меня скоро самолет. Вы, пожалуйста, передайте Вежке…

И запнулся. Что тут можно передать? Что мне очень жаль, что все так получилось? Вот так по-дурацки? Что я не дом, а человек, что я действительно был уверен, что меня разыгрывают, и если уж на то пошло, даже сейчас до конца в этом не разуверился.

- Сами ей напишите все, что хотите передать, - сказал пан Иржи почти сурово.

- Да, - сказал я. - Я сам. Спасибо. За все.

Он важно кивнул, я тоже отвесил придворный поклон, развернулся и пошел на Кармелитскую. Если меня все это время вели, как овцу на поводке, то теперь-то я точно могу что-то сделать от себя. Раз уж все равно все получилось.

Я шел вверх по Нерудовой, облака расступились, я смотрел на дома и невероятную синеву, отраженную в десятках окон, намытых с лимоном и уксусом, и с каждым шагом на душе у меня

становилось все легче и легче. Потом я купил столько роз, насколько хватило оставшихся денег, поднялся в мансарду, оставил их на столе, забрал чемодан и уехал в аэропорт.

колодец желаний

Зубная фея была немного сладкоежкой, а потому костюм был ей маловат на размер-полтора. Зато на бархатном корсаже переливались синими огнями камешки, газовая юбка походила на пышное, расшитое облако, а диадема сверкала алмазами. И, конечно, крылышки. Крылышки были изумительные, слюдяные, стрекозиные, каждое утро Зубная фея мыла их не менее тщательно, чем лицо, уши и шею. Зубная фея была чистюля.

Стояла она редко, но всегда на одном и том же месте. В центре было полно "живых статуй", в последнее время в моду вошли Золотые и Серебряные люди, они особенно хорошо смотрелись парой. В хорошую погоду статуи приходили на площадь, на главную туристическую траншею, на вторую площадь перед бульваром, - но ее место было всегда свободно. Чуть в стороне от основного потока туристов, у старого колодца, закрытого огромной каменной плитой. Здесь Зубная фея с комфортом располагалась на своей блестящей складной лесенке, вооружалась фарфоровой зубной щеткой, ставила у лесенки керамическую чашку - и стояла по два, по три часа, пока чашка не набиралась доверху. Монетки так и сыпались в керамику, малышня норовила залезть на лесенку, а самых храбрых Зубная фея сажала себе на колени и говорила: "Ну-ка, улыбнись! Ага, уже скоро. Не забудь положить его под подушку, и не засовывай слишком глубоко, ужасно не люблю шарить в темноте".

Очередное воскресенье выдалось теплым и солнечным, но на дворе стоял ноябрь месяц, Зубная фея долго собиралась и раскачивалась, так что вышла к своему колодцу сильно после полудня. И даже выругалась с досады: на ее месте стоял конкурент.

Золотоволосый, в белой ночной рубашке с оборочками, босой Ангел. Ноги у него явно зябли, он стоял на картонке и время от времени переминался с ноги на ногу. Он с глупой улыбкой что-то ворковал подбегающему ребенку, приседал перед ним, кивал в объектив родителям, потом долго махал ребенку вслед - и тут же поворачивался к следующему. Крылья у него были совсем небольшие, зато из настоящих перьев. Но лучшей деталью костюма был, конечно, нимб. Во-первых, было совсем не видно, каким образом он крепится над головой. А во-вторых, он светился. Это было почти незаметно среди бела дня, и все же некое золотистое свечение исходило от тонкого обода, парящего над кудрявой шевелюрой. Перед Ангелом стояла деревянная миска, почти полная тяжелых, весомых монеток и некрупных бумажных купюр. Зубная фея стояла поодаль еще минут десять, притопывая ножкой в бальной туфельке и дожидаясь бреши в потоке детей. И когда она подошла, тон у нее был не самый дружелюбный.

- Это мое место, - сказала Зубная фея. - Откуда ты здесь взялся?

Ангел посмотрел на нее и улыбнулся одновременно лучезарно и растерянно. Нимб мягко светился, как ночник в детской, и фея тоже почувствовала себя лучезарно и растерянно. И чтобы не терять боевой настрой, она немедленно пересчитала все зубы в ангельской улыбке. Тридцать два, без малейшего изъяна.

- Это мое место, - повторила она. - Нечего мне тут улыбаться и сверкать... нимбом. - Она сняла пальто, высвободив облака голубого газа и расправила примятые крылышки. - Тебе - забава, а мне работать надо. Хочешь развлекаться - поищи свободный участок.

- Я бы с радостью, - ответил Ангел. - Но больше меня нигде не видно.

- Это как? - изумилась фея.

- Это единственное место в городе, где меня видят люди, - пояснил Ангел с соответствующим терпением. - А мне обязательно надо набрать мелочи. Мой человек потерял сегодня кошелек. Вернее... - Ангел замялся.

- Вернее, его кто-то вытащил, - с удовольствием заметила Зубная фея.

- Я не видел, - уклончиво ответил Ангел. - Но там были последние деньги в доме, а гонорар ему опять задерживают. Он у меня немного рассеянный, - пояснил Ангел и быстро добавил: - Но очень, очень хороший.

Он слез со своей картонки, быстро перетащил ее ближе к краю колодца и предложил:

- Вставай рядом. Я скоро закончу, у меня уже почти пятьсот крон. Люди очень добры сегодня. Даже вот картонку мне принесли и велели стоять только на ней.

Зубная фея покосилась на его босые ноги. С ее точки зрения, такое было слишком даже для "живой статуи", но зеваки, видимо, воспринимали это как часть костюма или вовсе не замечали. Она пожала плечами и принялась расставлять свою стремянку. Ангел с интересом смотрел на ее приготовления.

- А зачем тебе стремянка? - спросил он.

- А как я, по-твоему, на двухъярусные кровати залезаю? - отозвалась она. - Думаешь, эти крылья поднимут такую корову? - Она взмахнула слюдяными крылышками, подпрыгнула, как неловкая балерина, и грузно приземлилась на мостовую.

- Ты совсем не корова, - быстро сказал Ангел. - И выглядишь как настоящая фея. Смотри, к тебе дети бегут.

В ноябре темнеет рано, а на закате теплый день стремительно превращается в холодный вечер, поэтому когда колодец совсем накрыла тень дома через улицу, они решили, что на сегодня хватит. Миска Ангела была полна с горкой, еще и пришлось собирать то, что упало на мостовую. У феи тоже оказался удачный день. Похоже, рядом с Ангелом люди в самом деле становились щедрее, чем обычно. К вечеру фея сменила гнев на милость. Она сложила стремянку, пересыпала монеты в карманы пальто и, глядя на босые ноги ангела, спросила:

- Ты не замерз? Выпить чего-нибудь горячего не хочешь?

- Спасибо тебе, но нет, - отозвался он, стараясь не расплескать свою миску. - Как только я уйду отсюда, я перестану быть виден. Так что никто мне ничего горячего не продаст. Да и мне бы поскорее к моему человеку вернуться. Как бы он там в грех уныния не впал, мне же отвечать потом.

Фея на мгновение задумалась.

- Ну-ка, - сказала она, - пройдись до конца улицы. Хочу кое-что проверить.

Ангел послушно кивнул и пошел. Прохожие огибали его, кое-кто оборачивался, кое-кто даже показывал пальцем. Фея быстро нагнала его и забрала из рук миску с деньгами. И тут же какой-то толстяк, огибая ее, шагнул прямо в ангела, прошел насквозь, только слегка запнулся, но решил, что все-таки задел девушку в костюме феи, буркнул извинения и поспешно ушел вперед.

- Все ясно, - сказала фея. - А я-то думала, что это оттого, что я день среди людей простою.

- Объясни? - попросил ангел. Его совершенно не беспокоило, что сквозь него шли люди, но фее совсем не нравилось это зрелище, и она потянула его за рукав сорочки обратно к колодцу.

- Меня тоже люди видят после того, как я тут день проторчу, - пояснила она. - Можно даже зайти в магазин и купить шоколадку. И даже съесть ее по дороге домой. И я думала, что это из-за того, что я тут стояла у всех на виду. Что это все потому, что я хотела быть увиденной и собрать монеток. Что я на это время как бы густею, а потом оно проходит, и меня снова никто не видит, и можно работать. А дело, оказывается, в том, что деньги в руках.

Ангел слушал ее с большим интересом.

- А когда ты монетки под подушки кладешь, у тебя разве нет денег в руках?

- Ну, видно, это другое. Это, наверное, работа, и тогда деньги - часть работы. Я же их дома в схрон кладу. Они там как новенькие становятся, а если подольше подержать, так даже чеканка меняется.

- А как ты раньше…

- А раньше кладов было полно, - отрезала фея. - А теперь все перекопали, поди найди хоть монетку, как мне работать-то? Они думают, у меня кроны на деревьях растут… Тут другое интересно. Как меня угораздило выбрать именно это место? И как сюда принесло тебя?

Она сунула ангелу его миску и тщательно оглядела тот пятачок, на котором они стояли. Даже обошла вокруг колодца. Но ничего необыкновенного не обнаружила. Обычная кладка, серые плиты облицовки, сбоку - остатки ворота, сверху - тяжеленная каменная крышка.

- Меня, пожалуй, именно принесло, - сказал ангел. - Как будто притянуло. Я же совсем не знал, что делать, мой и так недоедает, а тут еще и пропажа... Я думал к Тынской Святой деве зайти, может, осенит. А у ратуши ангел стоит, ну, в смысле, такой, не настоящий. И я подумал: вот бы меня было видно, как всех остальных людей, я бы мигом набрал хоть сколько, а потом подсунул бы моему как-нибудь, в ящик стола или в старый кошелек, или просто на улице бы подкинул монетку под ноги. На пятьдесят крон кое-где и пообедать можно.

- Ну, ясно, - перебила его фея. - А потом ноги сами сюда вынесли. А миску где взял?

- Да она прямо тут, на крышке стояла. Я подумал - вот как удачно, потом верну.

- Понятно.

Свою керамическую кружку фея точно так же нашла на каменной крышке колодца. Потом, после первого денежного дня, она зашла в лавку напротив и купила другую, а ту, с которой стояла, вернула на колодец. Может быть, все дело в колодце?

- Послушай, может быть, все дело в колодце?

Ангел с сомнением посмотрел на проржавевший ворот.

- Ну, может быть… Я действительно немного необычно себя здесь чувствую.

- Тогда ты, может, что-нибудь разузнаешь? По своим... ну, каналам? Интересно же, что это такое за место. Сможешь? Мне-то спросить вовсе не у кого.

- Я попробую, - кивнул ангел. - Спрос - не грех. Приходи сюда в следующее воскресенье. Придешь?

- Приду. Но лучше… Давай у ратуши, а то тут опять работать придется. И слушай, надень что-нибудь на ноги. Я понимаю, что тебе не холодно, но я просто не могу на это смотреть.

К ратуши ангел явился в белых шерстяных носках с узором, отдаленно похожим на меандр.

- Святая Пятница связала, - похвастался он. - Правда, красивые?

- Ты пошел к святой Пятнице, чтобы она связала тебе носки? - изумилась Зубная фея.

- Ну да, ты же просила, - кивнул ангел. - Но сначала - к Яну Непомуку. Он про Прагу все знает. И даже ему пришлось поспрашивать, представляешь?

Фея азартно закивала и потянула ангела сесть на крохотную приступку у двери на фасаде Орлоя.

- Здесь сквозь нас точно никто ходить не будет, - пояснила она.

Перед самой башней, как обычно, стояла толпа, глазеющая на волшебные астрономические часы, но у самой стены действительно не было ни одного человека.

- Рассказывай, рассказывай!

Ангел важно оправил оборки на своей ночнушке и рассказал.

Что в далекие, очень далекие времена, когда никакого храма Марии пред Тыном еще не было, на месте Староместской площади уже была рыночная площадь. И, как все рыночные площади на свете, она имела свой колодец - вот этот самый старый колодец, заложенный камнем. И про этот колодец ходили всяки слухи, которые ангел повторять не берется. Известно, что в каждом колодце живет колодезник, но этот был так глубок, что его считали домом какого-то настоящего чудовища.

И так случилось, что одной теплой летней ночью некий ученик чародея, которых в Праге всегда было предостаточно, взялся вызвать это чудовище из колодца. Зачем именно он это делал, осталось неизвестным - то ли на спор, то ли для какой-то своей ужасной надобности. Важно не это, а то, что у него получилось. Правда, так и не ясно, что именно. Кого-то он, несомненно, вызвал, но, как гласит легенда, неизвестный демон не стал подчиняться ученику, хотя напугал его своим видом до седины и полной потери чувств. Когда юноша пришел в себя, уже светало, а чудовище исчезло. Ученику еще хватило совести и разума, чтобы позвать мастера, вдвоем они закрыли злосчастную пентаграмму до того, как на площади появились первые торговцы. Ученик клялся, что только и успел произнести слово "хочу", как демон с огненным телом и налитыми

кровью глазами двинулся на него, хрипя и завывая, после чего молодой человек ничего не помнил. Цел остался, и слава богу.

- Зато за колодцем после этого стали замечать нечто странное, - продолжал ангел. - Те, кто пил его воду и часто бывал рядом, начинали испытывать ужасное, непереносимое томление. Другими словами, они начинали хотеть сами не зная чего. И когда рядом начали строить первый храм, тогда еще романскую базилику, колодец запечатали и закрыли, а неподалеку вырыли новый. Вот так. Теперь хотя бы понятно, почему мне было так странно рядом с ним.

- Ты начинал хотеть сам не зная чего? - догадалась фея. Ей было немножко неловко - она-то очень хорошо знала, чего хотела после каждого дня работы "статуей". Сладкого. Противилась этому желанию, как могла, но все равно покупала себе несколько шоколадок и съедала в один присест.

- Я вообще начал хотеть, - ответил ангел. - А как ты понимаешь, нам это вовсе несвойственно. Я тогда очень растерялся и на всякий случай начал хотеть чего-нибудь кому-нибудь другому, вот денег, например, - и мне быстро полегчало.

- Понятно, - сказала фея. - Как-то хреново они закрыли эту свою пентаграмму, раз нас туда по-прежнему притягивает. Я вообще-то наврала тебе насчет кладов. Их не так много, как раньше, но все-таки есть. В стенах, в подвалах, во всяких дырах, в тех же колодцах. Просто… иногда хочется показаться людям на глаза. Конечно, они считают, что я - просто тетка в костюме, но хоть так. Да и монетки получать весело…

Ангел как-то рассеянно кивнул, глядя в сторону. Фея посмотрела через площадь и в начале улицы, ведущей прочь, как раз там, где чуть сбоку от домов находился их колодец, увидела плотную толпу, еще более плотную, чем перед астрономическими часами.

- Что там такое, а? - сердито сказала она и решительно поднялась. - А ну, пошли, посмотрим.

Толпа хохотала, хлопала в ладоши и щелкала фотоаппаратами. Время от времени из толпы выскакивал ребенок, подбегал к "живой статуе" у колодца и дергал за хвост или один из многочисленных "наростов". Человек в костюме комично выл и подпрыгивал. На крышке колодца уже красовалась кучка монеток, она быстро росла.

Надо сказать, что костюм действительно был очень хорош. Что-то среднее между плюшевым драконом и инопланетным чудовищем, с огромной головой, мягким гребнем из разнообразных отростков вдоль всего хребта и длинным хвостом, который извивался и выгибался неведомым образом. У лопаток виднелись крошечные прозрачные крылышки. Глаза сверками множеством фасеток. Усов на печальной морде было столько, что они напоминали пучки травы. Шкура у него была бирюзово-зеленой, а отростки - всех цветов радуги.

Фея шагнула ближе. Плюшевая "шкура" висела на чудовище неопрятными складками, на морде было множество морщин, разноцветные отростки вдоль спины висели, как плети плакучей ивы. В крылышках было полно дыр, они напоминали витражные окошки, в которых выбили половину стекол.

- Так-так, - сказала Зубная фея. - Вот только этого нам и не хватало.

Она протянула руку и решительно дернула за самый длинный ус. Чудовище взвыло и закрыло маленькими лапами морду.

- Ты что, ему же больно! - ринулся на помощь ангел.

Он тут же начал быстро ощупывать шкуру странного существа, дотрагиваясь до самых разных мест и приговаривая: "Больше не боли, и тут больше не боли…"

- У-ууы, - жалобно сказало чудовище.

Ангел растерянно обернулся к фее.

- Он хочет… домой. Ужасно, ужасно хочет домой. Может, мне за святым Георгием сходить?

уговорщик Зоран

У нас в Хорватии полно настоящих колдунов, потому что земля такая, на нее только глянуть - и сразу понятно, что полно колдунов. Думаете, нет? А вы посмотрите на любой остров, он же зеленый от макушки до самых корней - как там деревья растут? Сам остров - скала скалой, вода вокруг соленая, дождь может запросто мимо пройти, ни ручейка, ни источника, а деревьев столько, что на рай хватит и еще останется. Да ладно острова, вы на поля посмотрите, они же из каменной гальки. А растет все, что хочешь, и кусты, и деревья, и перцы с помидорами. Нет, нам без колдунов никак нельзя.

Как определить, настоящий колдун перед тобой или нет? Да очень просто: если его перед тобой нет, он и есть настоящий. Потому что у нас так заведено: как только колдун в силу входит, так больше его самого никто и не видит, а что жив - знают по делам.

В нашем Сегете теперь уже два настоящих колдуна. Потому что Зоран Младший (есть ведь еще Зоран Старший, но лет сто уже никто не может сказать с точностью, жив он или мертв, так что все считают, что жив, кто их знает, этих смотрителей пресной воды, а ну как обидится, и что тогда), тот самый Зоран, который поссорил всех людей Хорватии с ящерицами, прошлым летом уволился с облачной фермы, а после этого его больше его никто не видел.

Облачная ферма - это, понятное дело, ферма, где выращивают облака. Вырастить облако - довольно просто, берешь подходящее поле на подходящем склоне холма, копишь там туман поутру - вот тебе и облако. А вот вырастить именно такое облако, которое тебе заказали, да еще и отогнать его в срок на поле заказчика, да чтобы ни капли не пролилось мимо - вот тут нужна ловкость, и абы кого в работники на облачные фермы не берут. Но, как было уже сказано, дед Зорана числился в смотрителях пресной воды, причем никто не слыхал, чтобы за последние двести лет этот пост кому-то передавали. А такие вещи всегда проступают через поколение, это всем известно.

Так что когда пять лет назад Зоран пришел на ферму, его сразу взяли.

Он бы вовсе не пошел бы ни на какую ферму, но после истории с ящерицами ему на побережье просто жизни не стало.

А с ящерицами было дело так. Как только Зоран Младший вырос настолько, что его можно было приспособить к работе, его тут же отправили в уговорщики рыб, благо дело это самое простое, проще не выдумаешь.

Дело в том, что все земли Адриатики устроены примерно одинаково: земля, за ней море. А Ховатия устроена иначе: земля, за ней море, потом снова земля, потом снова море, потом еще земля, и так до тех пор, пока море не повторится хотя бы дважды, и то место, где море повторяется дважды, то есть все море и море, считается границей Хорватии.

Так и выходит, что прибрежной линии - со всеми пляжами и заливами островов - у Хорватии куда больше, чем у любой другой земли. И в других землях рыбы на сушу не лезут, то есть лезут, конечно, но разве что вылезет одна раз в сто лет - ну так вылезла и вылезла, скатертью дорога. А тут - пляжей много, заливов и бухт хоть отбавляй, и все пляжи в каменных ребрах, море скалу размывает потихоньку, затекает в складки, вымывает что помягче - ну и корни гор год за годом проступают наружу. Очень удобно сидеть на таком корне у самой кромки - от солнышка тепло, от моря прохладно, сладкой тины сколько угодно. Вот рыбы и сидят, особенно под вечер. А потом начинается отлив, он тут совсем невысокий, море отступает разве что на ладонь, и рыба, пригревшись, не замечает, что уже на суше сидит, она же молодая рыба, мелководная и бестолковая. Поэтому каждый вечер по пляжам хотят уговорщики - загоняют рыбу обратно. Стоит на такую рыбу прикрикнуть: "Ты что, с ума сошла, глупая рыба, а ну в море!" - рыба сразу спохватывается и ныряет. Дело это пустяковое, от заката до сумерек, к этому многие детишки в Хорватии приставлены.

Ну, Зоран вечерами уговаривал рыб, а день был весь его: хочет - в море плещется, хочет - по хозяйству поможет, хочет - оливки в море кидает, полная воля. Правда, уговорщик он был отменный, кого хочешь мог уговорить, не только рыб, его на поля часто звали, чтобы уговорить камни быть землей, а это очень непростое дело.

Ну и начал он нос задирать. На это сквозь пальцы смотрели, что взять с мальчишки, пусть важничает, лишь бы работал. О его деде в юности такое рассказывали, что проказничай Младший все дни напролет, и то все бы лишь ухмылялись и махали рукой, куда ему, мелкому, до дедовых похождений. Зорана Старшего вообще часто поминали, к месту и не к месту, больно знатный был колдун, и добавляли на всякий случай: то есть, наверное, и сейчас есть. Ну вот, к примеру: уговорить камни на поле считать себя землей - дело непростое, но посильное кое-кому, все-таки поле, на поле полагается быть земле. А Зоранов дед мог уговорить камни быть дровами, запросто. Велел только сначала их в поленницы у дома складывать, чтобы проще уговаривать было - мол, вы уже лежите, как дрова, принесли вас из леса вон с того мыса, соглашайтесь, ребята, быть дровами, вас в печку положат, вам так тепло будет! И уговаривал, да так хорошо, что если после его уговоров нижний ряд камней в поленнице оставить, то старые камни уже сами новые уговорят - только клади сверху.

Так что это враки все, будто хорваты камнем печи топят. Это приезжие путешественники видят поленницы из камней - да и, не спросив, начинают в блокнотах о диковинах строчить. А если бы они чуть-чуть подумали головами в очках, сами бы сообразили: что в Хорватии растет быстрее, горы или лес? Любой хорват вам ответит: горы, конечно. Так что уговаривать камни куда выгоднее, чем деревья рубить.

Так вот, ходил тогда Зоран Младший в уговорщиках рыб, то есть по утрам ему делать было вроде как нечего. А гонору было - хоть отбавляй, на каждом углу хвастал, что кого хочешь на что хочешь уговорит, да тот еще счастлив будет, что уговорили. Ну, кто постарше на это только ухмылялся, помня дедовы выкрутасы, а кто помладше - помалкивал, потому как с колдунами, даже малолетними, задираться никому неохота.

И пришло Зорану в голову, что если он уговорит всех ящериц Хорватии считать себя рыбами, это будет подвиг не хуже, чем у деда с камнями. Чем рыбы больше, тем людям лучше, думал Зоран, а с ящериц вообще никакого толку, лежат себе на изгородях, греются на солнышке, все их заботы. Поэтому как-то поутру он подошел к самой крупной ящерице Сегета, у нее уже бирюзовые крапинки на боках проступили, такая она была старая и важная, и начал ей рассказывать, какие у нее некрасивые ноги. Он-то как думал: уговорить ящерицу, что плавники в тысячу раз красивее - и будет она самая настоящая рыба.

Но ящерицы, оказывается, очень гордились своими лапами - такие они ловкие, проворные и с маленькими коготочками, - что предложение Зорана показалось ей самой большой глупостью на свете. Она аж подпрыгнула от возмущения. А он все уговаривает. И пришлось ящерице спасаться бегством, чтобы не слышать его уговоров. И начали люди замечать, что ящерицы перестали им на глаза показываться, а как подойдет кто поближе - вскакивают и убегают. От этого мух на огородах сразу больше стало, да еще и комары начали в дома залетать, чего уже спокон веку не было. Ну, людям это все, конечно, не понравилось, начали они просить Зорана уговорить ящериц перестать на всех подряд злиться, да вот только чтобы уговорить кого-то, нужно, чтобы этот кто-то хоть минуту спокойно постоял. А ни одна ящерица рядом с Зораном ни секунды находиться не желала. Крепко они обиделись.

Зоран зиму терпел-терпел смешки да подначки, - он, мол,ящерицу не уговорит даже от хвоста отказаться, хоть это и может любой младенец, - да и подался с весной в горы, на облачные фермы.

Пять лет он на этих фермах отработал, вымахал в красивого парня, облака за ним ходили, как овцы, сразу дюжину мог по полям доставить, как почтальон газеты. А потом взял расчет и только один раз у нас в Сегете появился - видели его люди в таверне на берегу за ужином. Сам он ни к кому не подошел, и к нему никто не подсел, хотя здоровался парень со всеми приветливо, и рыбу уписывал за обе щеки.

Мать его потом рассказывала, что утром он ее поцеловал, надел ботинки покрепче и ушел прямо по белой дороге, которая ведет по гребню холма до самого Маячного мыса. Вот так из нашего Сегета в Хорватии стало сразу два колдуна, а ведь мы совсем небольшой поселок, да и не старый, лет пятьсот нам от силы, мы от церкви Антония Падуанского отсчитываем, ее здесь как раз венецианцы поставили, тот же Трогир куда старше, а колдунов из него за все время - всего-то десяток.

А белые дороги с тех пор так и появляются одна за другой на островах, возникают неизвестно как и остаются, как будто их кто нарочно проложил вдоль оливковых рощ. Говорят, что по утрам эти дороги чудят: перекидываются на соседние острова, прямо через лагуну, или уводят совсем в дальние страны, еще в апреле мой брат по такой дороге пошел и до сих пор пока не вернулся.

гондольер Паола

Все ее спрашивают: Паола, как ты это делаешь? Ну вот скажи, как это вообще возможно, это же колдовство, наверное, какое-то? И ты же тогда, наверное, еще что-то умеешь, не может быть, чтобы только это?

Только это, отвечает Паола и притопывает ногой в остроносом башмаке. И не приставайте ко мне с колдовством, а то сейчас веслом как дам, оно у меня всегда под рукой, вы же знаете.

Весло у Паолы и правда всегда под рукой, потому что Паола - гондольер. Всем известно, что в Серениссиме четыреста двадцать пять гондольеров, и все они - мужчины, так как еще ни одной женщине не удалось сдать теоретический и практический экзамен. Но Паола никакого экзамена никогда не сдавала, ничему не училась и лицензия ей ни к чему. У нее даже гондолы нет.

Но стоит ей встать на любой из мостиков через множество узких каналов и опустить весло в воду - под Паолой оказывается черная лодка, с лакированными боками, подушками, помпонами и наконечником-ферро, все, как полагается. И она может плыть на этой лодке решительно куда угодно, правда, канал в таком случае остается без моста, но ведь никуда же Паола его не забирает. Либо ставит потом на место, либо пригоняет новый. Нужно всего лишь развернуть лодку поперек канала и поднять весло из воды. Иногда бывает очень полезно получить хотя бы на день мостик там, где его раньше не было.

Конечно, полиция много раз пыталась оштрафовать Паолу. Где это видано - гондольер без лицензии. Но ей даже посреди Грандканала полиция нипочем. Поперек него не встанешь, конечно, но если пригнать лодку к любому дому или хоть носом к нему поставить, а потом поднять весло - Паола окажется на деревянной дощатой пристани, узкой, как гондола, влажной и заросшей по сваям зелеными водорослями. За что штрафовать женщину, стоящую на пристани, даже если она - с веслом? Совершенно не за что.

И полиция махнула на Паолу рукой. К тому же, Паола никогда не возит пассажиров.

Паола возит мосты. Потому что очень удобно привезти мост в мастерскую, почистить его, починить, заменить доски, если он деревянный, или мраморный край ступенек, если каменный, - а потом отвезти его и поставить на место, подновленный и сияющий. Гораздо удобнее, чем перекрывать и возиться с ремонтом на месте, пригонять баржи с цементом и кусками камня, и прочая и прочая.

Но, конечно, Паола катает мостики и просто так. Город посмотреть, соседей, мало ли.

Только мост Риальто Паола ни разу не сдвигала с места. Во-первых, с него никаким веслом до воды не достанешь.

А во-вторых, говорит Паола всякий раз, когда ее об этом спрашивают, он мне просто не нравится.

Ох, Паола, говорят ей, если бы ты жила в Париже, тебе не нравилась бы Эйфелева башня!

Скорее всего, так бы оно и было, говорит Паола, вскидывает на плечо весло и уходит, притопывая остроносыми башмаками.

Еще она изредка возит кошек, потому что все кошки отлично знают, где они находятся, на мосту или в гондоле, и, конечно же, предпочитают находиться на мосту, даже если им нужно к ветеринару на другой конец города.

шкатулка с секретом

Первым чувством была досада. Терпеть не могу такие фокусы: просишь же, оставьте мне только стены, я все равно все переделаю, так нет.

Обязательно застрянет в доме либо кошмарный шкаф в потеках столярного клея, с мутным зеркалом и шпоном в пузырях, либо тумба якобы красного дерева – дверцы провисают, полки внутри из прессованной стружки, задняя картонная стенка отошла в одном углу.

И всегда одни и те же объяснения: рука не поднялась выкинуть, некогда разбираться или даже "да какая вам разница".

Эта история повторялась на каждой моей съемной квартире, несмотря на условие "без обстановки". Я так надеялся, что уж в купленном-то жилье ничего подобного не будет, - нет, стоит, красавец. Сукно на крышке давно заменил кошмарный кожзам, одна из ног надстроена каким-то обломком, на половине ящиков нет ручек, и весит этот стол, конечно же, целую тонну. Я попытался его хотя бы сдвинуть - и понял, что придется либо брать топор, либо звать рабочих. Грандиозно.

Я выругался и вышел в кухню. Вот здесь как раз были только плита и раковина, как я и просил. И то, и другое я, конечно же, собирался менять, хотя плиту можно было бы и оставить, хорошая, новая плита, газ наверху, внизу электрическая духовка, все, как любила Татка. Ей бы понравилось.

- Тебе бы понравилось, - сказал я.

И поскорее полез в коробку, которую сам выставил посреди кухни, чтобы не затерялась. Вытащил оттуда джезву, кофе, мельхиоровую ложку на длинной ручке и черную керамическую чашку. Сейчас мы не будем реветь, сейчас мы будем варить кофе.

Первые два или три месяца без Татки слиплись в один невыносимый день, я и представить себе не мог, что в наше время смерть сопровождает такая бесконечная бумажная волокита, разрешение на то, разрешение на это, бумаги оттуда, бумаги отсюда, я подписывал их как робот, ничего не соображая. Я вообще не понимал, как это можно - взять и умереть среди ночи, просто вот так вот взять - и уйти, и ни слова мне не сказать.

Ладно. Не смей ее обвинять, подумай о чем-нибудь хорошем.

И я подумал: все-таки хорошо, что Татка ушла вот так, замечательная смерть, всем бы такую. Умерла она в конце августа, а когда я в первый раз после этого выглянул в окно - увидел снег, мягкие крупные хлопья.

Еще четыре месяца у меня ушло на продажу нашей только что выкупленной у банка квартиры и покупку этого жилья посреди нигде. Я хотел именно так: захолустье, но у моря, Болгария, Словения, Черногория, все равно. И когда подвернулись полдома в каком-то городке у черта на рогах, к морю идти восемь километров, причем через Италию, - думал недолго. Съездил, посмотрел, а потом только и осталось, что оформить документы. Все, что угодно, но снег за окном я теперь видеть не хотел никогда.

Кофе был сварен, я нашарил в той же коробке тростниковый сахар, налил себе полную чашку - и вернулся к ужасному столу, потому что это была единственная горизонтальная поверхность во всем доме, не считая подоконников. Беглый осмотр спальни выявил стул без спинки - когда-то он был венским, с сиденьем тисненой кожи, но сейчас выглядел так, что я дал себе слово выкинуть его, как только заведу себе хоть какую-то мебель. Заводить мебель и вообще обставлять новый дом - это замечательное, всепоглощающее занятие, я рассчитывал, что мне хватит его по крайней мере на полгода. Нашу квартирку мы обставляли пять лет, и до книжного шкафа, к примеру, так и не добрались.

Ладно. Ладно.

Я прихлебывал кофе и смотрел в огромное окно. За тот вид, который открывался из гостиной, можно было простить и не такой стол. Во-первых, прямо напротив окна в синих сумерках торчал кипарис. Немного пыльный и блеклый после зимы, но настоящий кипарис. Дерево рядом с ним было названо мне инжиром, но как оно выглядит с листвой, я, видимо, узнаю только через месяц. А еще мне придется учиться ухаживать за розами. И диким виноградом.

Представляешь, Татосий, у нас стена гостиной заплетена снаружи диким виноградом, сейчас пока только прутья, но летом... Так, вот туда не надо. Совсем мне туда было не надо, и следовало срочно чем-то себя занять, разобрать коробку с матрасом, например, но я почему-то сидел и смотрел на кипарис, и думал, что это очень удачное место для письменного стола. И сам стол не так уж ужасен. Если его немного отмыть, подреставрировать, заменить этот жуткий дермантин, положить сверху толстое тяжелое стекло - получится рабочее место моей мечты.

Я отнес чашку в раковину и заглянул в кладовку. В кладовке нашелся пластиковый тазик - ценная вещь, - запас тряпок, зеленой мыльной жидкости и туалетной бумаги. Я решил, что мои продавцы - настоящие ангелы, окончательно простил им стол и взялся наконец за коробки. Матрас у меня был надувной, и если я хотел сегодня лечь не в три, надо было срочно им заняться. Еще же простыни искать. И еще - письмо Татке.

Утром, в солнечных пятнах, стол показался мне почти красавцем. Я вооружился тазом, ножом и тряпкой, очистил крышку от дермантина и грязи, полюбовался, сварил себе кофе и взялся за ящики. Ящиков было семь штук - по три в тумбах и один большой и плоский прямо под крышкой. И этот длинный ящик был заперт. Я подумал, что потом как-нибудь его вскрою, взялся за боковые, и в левом нижнем нашел ключ. В первый момент обрадовался, а во второй - сообразил, что этот ключ никак не может быть от ящика письменного стола - слишком маленький, слишком затейливый. Такими ключами вскрывают потайные отделения в секретерах или заводят драгоценные механические игрушки в рост человека. Так что ящик в итоге пришлось взламывать ножом.

Его почти весь занимала шкатулка красного дерева. Большая и плоская, как коробка сложенной шахматной доски, абсолютно гладкая, невероятно красивая. Сразу было видно, что этой вещи по меньшей мере лет двести. Узор на дереве выглядел как темные пузырьки в толще воды. Рисунок ажурных кованых уголков белого металла очень подходил к рисунку ключа, и я, не задумываясь, вставил его в замочную скважину и повернул. Раздался щелчок, он показался мне куда более громким, чем тот, с которым открылся замок самого ящика. Оказалось, что шкатулка была открыта, а я ее только что закрыл. Оставалось только повернуть ключ в обратную сторону. Но как я ни старался, мне это не удавалось.

Я покрутил шкатулку в руках в поисках скрытого механизма. Она оказалась довольно тяжелой, но это мог быть вес самого дерева. Я машинально протер ее мокрой мыльной тряпкой, спохватился, что делаю ужасную глупость, протер влажной и чистой, а потом еще и высушил бумажными полотенцами. С такой вещью следовало обращаться нежно. Бог весть, почему ее здесь забыли, но я купил этот дом, а значит, и стол, и его ящик, и ее, она теперь моя, что бы в ней ни было. Ножом я ее, конечно, ковырять не буду, просто вечером сяду спокойно и еще раз попробую ключ. Я поставил шкатулку на подоконник и весь день время от времени оборачивался на нее - такая она была прекрасная.

А еще я думал - в ней же может быть все, что угодно. Старые письма. Колье с бриллиантами. Бечевка или пус-сто, моя прелесть. Все, что угодно.

Поэтому к вечеру, закончив с огромным куском уборки и разбором еще пяти коробок, я сел ужинать за отмытый письменный стол и воображать, что же такое может быть в моей шкатулке. И мне это так понравилось, что я решил: я не буду ее открывать. Пусть там будет что угодно. Я лучше придумаю ей Содержимое. И оно там будет - по крайней мере, пока я ее не открою, верно? Это тоже был хороший способ себя занять. И я сел и написал письмо Татке - подумай только, нашел шкатулку, сам же запер, теперь открыть не могу. Письма Татке я писал каждый вечер. Ничего особенного в них не было - дела, скучаю, погода. Но над ними я позволял себе реветь. И это помогало. И писать тоже помогало, особенно при свете лампы, за огромным монстром о семи ящиках. Эти письма посоветовал мне за месяц перед отъездом один старый друг, я начал писать за компьютером, но это было как-то ни то, ни се. Потом я вычитал, что такие вещи нужно делать от руки, и вот тогда дело пошло, я даже начал выискивать какие-то смешные мелочи за день, чтобы было о чем написать. И так потихоньку начал выкарабкиваться, а потом и уехал.

Ладно.

А через три дня пришла новая мебель, проявился старый заказчик, которому все всегда надо вчера, я закрутился и забыл про мой волшебный ларчик.
И вспомнил о шкатулке только через неделю, когда вешал шторы и нашел ее на подоконнике.

Я сел на диван, поставил ее себе на колени и начал воображать Содержимое. Скорее всего, там все-таки какие-то бумаги. Старые письма, счета, - нет, счета не хочу, письма лучше. (Колье с бриллиантами я отверг сразу - ну что бы я делал с этим колье, а?) Может быть, на самом дне лежат письма-ровесники этой шкатулки. И я их даже и прочесть-то не смогу, они же, скорее всего, на немецком, тогда в этих землях только на нем и писали. Выше - записочки помоложе. А самым верхним лежит письмо от Татки.

Я спохватился только тогда, когда обнаружил, что вою в голос. Нет, так нельзя. Пошел в ванную, подставил голову под холодный душ, вытерся, пошел на кухню, сварил кофе. Нужно просто открыть эту чертову шкатулку, убедиться, что она пуста, и не забивать себе голову кошмарами. Письма ему. С того света, ага. Совсем свихнулся один в пустом доме. К морю сходи, два часа вниз, четыре - наверх, потому что в горку, отлично проветришься.

И я действительно отлично проветрился, успокоился и даже аккуратно попробовал еще раз вообразить Таткино письмо в шкатулке. Когда идешь в горку и торопишься успеть до сумерек домой, поневоле приходится глубоко и сильно дышать, и под это дыхание можно оборотъ практически все на свете. Во всяком случае, разреветься крайне трудно. Ну что такого особенного, в самом деле - записка с того света? Я же пишу туда письма - и ничего. Может, они тоже ложатся в какую-нибудь шкатулку, там, у себя.
Я шел, дышал и думал, о чем могло бы быть это письмо. Конечно, не бойся, конечно, не плачь, конечно, ужасно люблю. А потом внезапно выскочило: смотри, дом у моря (ну, почти у моря) ты себе уже сделал, сделай наконец остальное, что давно хотел, а то будет, как со мной - сердечный приступ и все, и ничего не успеешь.

Я даже остановился на секунду. Будь я хоть немного мистик, я сказал бы, что отчетливо услышал в голове ее голос, но я совсем не мистик, никакого голоса не было. А остановился я от того, что не смог сразу вспомнить, хочу ли я теперь чего-нибудь. Последние полгода у меня было одно сплошное "не хочу" - не хочу в снег, не хочу в эту квартиру, не хочу никого видеть, никогда не хочу в метро.

И я снова пошел в горку. И вспоминал, а чего же я хотел полгода назад, даже уже почти год, когда было еще лето и предвкушалась долгая осень, и, может быть, отпуск у теплого моря. Вспомнить удалось далеко не сразу. Да и желания все казались какими-то мелкими, второсортными. Книжный шкаф, боже ж ты мой. Сейчас мне хотелось только одного: чтобы еще как можно дольше пустовала вторая половина дома (хозяева приезжали туда только на лето), и чтобы в шкатулке лежала записка от Татки. Ужасным Таткиным почерком, который могли разобрать только я и она.

Войдя в дом, я не разулся, а так в кроссовках и вошел в гостиную, взял шкатулку в руки, даже вставил ключ. Но так и не повернул. Пусть там лежит письмо. Я так решил. Вот тебе ящик, в нем живет твой барашек. Поставил шкатулку на письменный стол, прямо под лампу, слева от монитора, и больше не трогал.

Весна в этом году начиналась поздно и неспешно, на инжирном дереве наливались почки размером с кулак, но раскрываться пока не собирались, зато виноград выпускал первые, еще цвета салата, скрученные листья. Я собрал в доме все необходимое для жизни, дальше можно было уже выбирать не наспех, долго прикидывать, прежде чем присоединить новую вещь к уже имеющимся. Одна большая пачка работы была сделана, до старта второй было еще недели две, и у меня внезапно появилось очень много свободного времени.

Через три дня, около пяти утра, я обнаружил, что перестал готовить и только один раз был в магазине, потому что кончился кофе, а заказать новый я забыл. То есть за три дня запоя в "Цивилизацию" я уговорил пачку кофе и половину блока сигарет. Из зеркала над раковиной на

меня глянуло заросшее и отекшее лицо. Первым порывом было немедленно побриться и идти наружу - все равно за чем, лишь бы от монитора, - зато вторым проступило отчетливое "ну и пусть". И вот второго я испугался - хотя и не сразу. Я дошел до стола, машинально запустил игрушку и даже сделал несколько ходов. И понял, что я могу просидеть так неделю. Или две. Или больше - пока не появится новая работа, после чего я ее сделаю, куплю кофе в три раза больше обычного - и снова сяду.

- Ну уж нет, - сказал я вслух. - Дудки. Этот номер у вас не пройдет, гражданин Гадюкин.

Ровно десять минут у меня заняло открыть четыре сайта, обнаружить, что в Венецию из прибрежного города ездит рейсовый автобус, выяснить расписание и забронировать ночь в отеле. Я проделывал все это в каком-то веселом остервенении, хорошо понимая, что оно - всего лишь обратная сторона моего тупого безразличия, запал скоро пройдет, и я буду чувствовать только усталость. Ну, вот пока не прошел, надо пользоваться, может быть, удастся что-то сделать.

Что именно сделать-то, спрашивал я себя, собирая рюкзак. Чего ты хочешь? Каких перемен? Да хоть каких-нибудь. Так нельзя. Так я снова досижусь до снега за окном, запросто, подумаешь, что его в этих краях по десять лет не видали.
Но перед самым выходом, уже чувствуя, как снова подступает к глазам и горлу знакомое "ну и пусть", я проглотил приступ жалости к себе, достал из ящика ключ, вставил в шкатулку и повернул.

Конечно же, она оказалась пустой. Если бы не автобус через два часа, не снятые с кредитки почти сто евро - я, может быть, так и остался бы сидеть у стола и смотреть на пустое донышко, пока не стемнеет. А может быть, даже остался. И кто-то другой, совсем новый, злой сам на себя до чертиков, сделал вдох, сглотнул скопившуюся под языком слюну, закрыл шкатулку, запер входные двери и вышел из дома.

За три часа дороги моя злость поутихла, растеклась, превратилась в кривую усмешку. Вот такой, перекошенный и несчастный, я вышел на автовокзале, поймал "двойку" до Пяццале Рома, на которой в Венеции заканчивается асфальт, пересек высокий мост и пошел вдоль первого же маленького канала. И уже через полчаса понял, какую колоссальную сделал глупость, приехав именно сюда.

Я уже бывал в Венеции, два или три раза, практически проездом и всегда бегом, но еще ни разу не был здесь весной. В воздухе стояла водяная взвесь, солнце едва пробивалось за прядями тумана, от каналов тянуло холодом и сыростью почти подвальной. Я брел наугад, дома становились все кривее, а прохожие попадались все реже, я совершенно не понимал, где нахожусь, знал только, что где-то между вокзалом и Академией, а это понятие очень растяжимое. Одиночество плескалось во мне почти вровень с глазами, как зеленая стылая вода вровень с набережными, такое же соленое и такое же равнодушное. Венеция - город медленной смерти: погружаясь сама в себя, обваливаясь, осыпаясь, она упорно сопротивляется всем усилиям ее спасти. Я был в Венеции, ее поглощало море, а меня - мое горе. Но меня, в отличие от нее, никто не спасает, да и не станет, после Таткиной смерти я остался совершенно один. Ну, раз так, тебя нужно поить кофе, дорогой мой, решил я и начал выбираться из лабиринта.
В конце одной из улочек промелькнула лагуна, и я пошел на нее, как на свет. И оказался как будто в другом городе. На набережной было тепло. Здесь даже время от времени принималось светить солнце. Здесь стояли столики кафе, пахло какой-то вкусной снедью, деловито вопили чайки и сновали катера. Я выпил капучино, потом попросил горячего вина, а потом и пообедал. И так и просидел на набережной до самого заката.

Облака уже догорали, как угли, когда я плыл на катерке через лагуну в свою гостиницу. Море не плескалось, а мелко вздыхало, и шум мотора казался излишним, катер плыл бы и без него, просто скользил бы по этой глади, как змея по траве. Я смотрел на башню храма на острове и думал, что все-таки очень хорошо, что я поехал. Горе горем, а есть вещи, которые не отменить даже горем. Закат, белая лагуна. Этот город. В конце концов, всегда есть этот город.

Вдоль фарватера зажглись фонари, ночь наступила сразу и везде, и я близоруко щурился на указатели улиц. Гостиница нашлась на удивление легко, все, что от меня хотели - это документы и оповестить о времени завтрака. Я кивнул и выложил на стойку паспорт. Портье взялся за него и вдруг поднял на меня глаза.

- Сеньор, вы из России?

- Ну, практически, да. А что?

- Вы не могли бы нам помочь? Сегодня утром пришло письмо, адрес наш, и написан по-итальянски, но вот адресат... у нас это даже прочесть никто не может, это какие-то не те буквы. И почерк... ужасный. Вы не могли бы нам сказать, как это хотя бы произносится?

Пета и Лючия

Проснувшись, Лючия сразу проверяет себя и Пету. Две руки, две ноги, четыре лапы, один хвост. Ну и две головы, разумеется. Но с головами никогда не бывает путаницы, голова она и есть голова.

Лючия встает с низкого, но очень удобного матраса - кровать они с Петой решили не покупать, потому что никакая кровать не вставала под низкий скат крыши так удобно, как простой узкий матрас, а ведь глупо не превратить в спальню довольно большую кладовку, особенно, если в кладовке имеется окно, а квартирка в результате этих сложных пространственных манипуляций становится практически трехкомнатной: спальня, гостиная и кухня. Кухня, конечно же, просто выгородка, сделанная из еще одной кладовки и коридорчика, но тоже с окном, да каким еще - с видом на террасу.

Терраса - самое большое помещение в квартире, целых три на четыре шага. Пета тут же выбегает и ложится на кирпичную керамическую плитку, прямо в солнечное пятно. Лючия выставляет ей тарелку с нарезанными куриными сердечками, а сама идет варить кофе. Потому что если Пета будет крутиться на кухне под ногами и руками и требовать есть, никакого кофе сварить не удастся: на столе у плиты помещаются либо банка с кофе и джезва, либо кошка. И вся квартирка такая - как следует распрямиться и потянуться можно только на террасе.

Насмешка, словом, а не жилье.

Зато в самом центре Санта Кроче, а это дорогого стоит. Когда на самые жаркие месяцы Лючия и Пета уезжают из города, подальше от раскаленных набережных и толпы туристов, они могут поехать, куда душа пожелает, потому что квартирку на это время они сдают проверенной фирме. Фирма, небось, имеет с этого раза в два больше, потому что пересдает жилье туристам на день-два по истинно венецианским расценкам, но зато по возвращении Лючию ждет в банке весьма приятная сумма без всяких лишних хлопот. Больше всего на свете Лючия не любит лишние хлопоты.

- Не хочу сегодня на рынок, - говорит она Пете. - Всего-то март месяц, а приезжих уже как в июне. Наводнения на них нет.

Выходить на улицу Лючия не любит только чуть-чуть меньше, чем лишние хлопоты. Это Пета - уличная душа, вот кому в радость бесконечно петлять по всем мостам и улочкам, заходить на все торжища, особенно блошку, которая бывает по пятницам и субботам на площади близ Рыбного рынка. Но сейчас Пета не возражает. Она щурит зелено-желтые глаза, укладывается на солнышке и принимается вылизываться. Пета ничего не имеет против побыть день дома просто так. Лючия неспешно завтракает, а потом выносит на террасу коклюшки и садится за кружево. На деньги от квартиры они с Петой ездят. А кружево - это на хлеб с маслом.

Весь короткий весенний день Лючия перебирает коклюшки, и к тому времени, как солнце окончательно уходит с террасы, у нее сделан очень приличный кусок.

Пета трется о ноги Лючии и ножки стойки с валиком, на который наколото кружево: пора и ужин собирать. Лючия уносит работу в дом и берется за готовку.

- Завтра все-таки придется идти на рынок, - говорит она, оглядывая нехитрые припасы. - Зелени только на салат, размороженным мясом ты же первая брезгуешь… Да, и соль и мука тоже кончились, так что в магазин тоже надо. Перестань об меня тереться и марш с кухни, мне же холодильник не закрыть, пока ты тут крутишься!

Пета фыркает и выбегает из кухни. Ужинают они вместе на все той же террасе, при свете маленькой лампочки над дверью. Вечера еще холодные, Лючия кутается в плед, но мотыльки уже вьются вокруг света белым мерцающим облаком. Туристов почти не слышно, в это время они все смещаются ближе к Риальто и соборной площади, там, где витрины роскошных магазинов (в том числе и с кружевами Лючии) полыхают, как самое яркое зарево. А фонари в городе всегда горят словно вполсилы, думает Лючия сонно. Даже не почитаешь. Наверное, чтобы на витрины больше летело этих… однодневок.

К туристам, как и все коренные венецианцы, Лючия относится со снисходительным раздражением, которое сама считает верхом терпимости. Налетят, пошумят, улетят. Ну и пусть их, лишь бы покупали ее изумительные болеро и шали ручного плетения.

Утром Пета выходит из дому пораньше, стараясь не шуметь и не разбудить Лючию - та по утрам спит особенно сладко, в этом они тоже не похожи, даром что близнецы. Сегодня нужно на рынок, значит, сегодня очередь Лючии жмуриться на солнце, а Петы - хлопотать по хозяйству.

Она покупает свежую рыбу, кусок мяса, муку и соль, и даже кофе и хлеб с оливками - сама она совершенно равнодушна к тому и другому, но Лючия будет рада всему этому завтра утром. Увидев в рядах на рынке знакомого зеленщика, Пета целенаправленно идет к нему, и довольно быстро ее корзинка наполняется самыми отборными овощами и салатом.

- Как здоровье вашей сестрицы, сеньора Лючия? - спрашивает зеленщик, отбирая специально для нее редисочки покрупнее. - Что-то она к вам не едет и не едет.

- Здорова, как ваши огурчики, - отзывается Пета. - Но в этом году она опять не приедет. Уж лучше я к ней в Неаполь. Куда нам вдвоем в моей квартирке? Еле-еле кошка уместилась.

день *города*

Я вошел в город по воде, я всегда вхожу в город по воде и вместе с водой, - любой город, через который течет вода, ловит за ноги чаек мелкой волной, лижет прозрачным языком ступени набережных, - любой город с водой годится для меня и открыт для меня.

А уж если она плещется в подвалах, поднимается в каналах и реках, затопляет каменные берега, вспучивает краску на домах, оседает моросью на оконных стеклах, то ее город – и вовсе мне друг и брат, даже такой город, как этот, где небо давит на виски, а солнце выходит из-за туч только в редкие летние дни.

Я вхожу на рассвете, и свет разливается в небе - молоком в темной воде. Небо становится низким и прозрачным, как изнанка раковины, как белесая плоть моллюска, посреди ее придонного колыхания – взращенным жемчугом – солнце, в котором света не больше, чем в луне, а тепла – еще меньше.

Дома вдоль набережной ежатся и тянут на себя одеяло тумана, я слышу их скрип и ворчание: тут снова лопнула штукатурка, а ведь только год назад латали, там обвалилась печная труба, а краска так и вовсе уже ни на что не похожа. Это самые старые дома в городе, но я видал дома и постарше, поэтому их кряхтенье кажется мне трогательным и забавным – тщатся выглядеть стариками, а всего-то по триста лет. Но когда один, ярко-синего цвета с белыми наличниками, кричит спросонок: «Крысы, крысы!» - я кидаюсь к нему и утешаю, и глажу по стертым ступенькам. Хуже крыс для дома только гниль или пожар. И то, как посмотреть.

Любой город хорош на рассвете, особенно весной. На улицах – ни души, в шесть утра спят даже самые отчаянные гуляки. Солнце бьет низкими лучами сквозь пряди тумана, в городе дышит каждый камень, воздух подрагивает, слагает призраков из сумерек и света. Особенное, легкое время.

Но этот – этот словно нарочно создан для белесых майских сумерек. Зима, хоть и длилась до конца апреля, наконец-то изгнана. Старая пыль смыта дождями, новой еще не накопилось. Деревья пока прозрачны, но каждое стоит в облаке первой мелкой листвы, а на асфальте полно зеленых гусениц – тополя сбросили сережки. Город замирает, до краев полный весной и белым светом, будто то и другое ему поднесли в подарок, а он ничем не заслужил такой роскоши, даже надеяться не смел, и не верит своему счастью.

Я иду вдоль канала, вода сидит в нем непривычно низко, но я чую ее недобрый нрав. Когда-то этот город был обещан ей, ей были назначены каналы вдоль улиц, просторные набережные, пристани, корабли, сады и дворцы у самой воды. А сейчас у набережной ворочается с боку на бок разве что ресторан-плоскодонка с фальшивыми мачтами без оснастки, каналы засыпаны щебнем, сады отступили под натиском доходных домов, а из всех парусников остались только яхты, да и те томятся на самом краю, у большой песчаной косы.

Утро оступает, и погода портится. Прозрачное небо затягивают тучи, город темнеет и мрачнеет прямо на глазах. Каменные набережные становятся зыбки, как болото. Всюду пыль, мусор, какие-то обломки. Очертания домов проступают резко, словно скулы на мертвом лице. Здесь явно не помешала бы генеральная уборка, думаю я. Или хотя бы открытая форточка.

Прибирать и проветривать города можно по-всякому, но лучше всего действовать не снаружи, а изнутри. Заставить город перетасоваться и повернуться изнанкой, да встряхнуть ее как следует, чтобы задышала, а с изнанки у всякого города вода, кому как ни мне, знать об этом. Города стоят на реках и заливах, на озерах, на берегах морей. В любой городской воде – примесь соков его жителей, каменные прессы домов выжимают людей досуха, и влага идет на то, чтобы напоить новых, совсем еще бессмысленных младенцев, воду города они получают даже раньше, чем материнское молоко.

В воду уходят те, что держат город, не в землю, а в воду, - из воды же потом поднимаются изредка, когда этому благоприятствует луна или когда вода достаточно высока, чтобы войти по ступеням в город. Из земли могут подняться только городские мертвые. С изнанки воды приходят те, что стали здесь бессмертны.

Я раздумываю, не поднять ли мне воду. Этот город молод, но даже за такой срок должен был накопить бессмертных. Куда лучше было бы найти парочку живых хранителей, живых здесь вообще-то довольно много, но ни одного хранителя я что-то не чую. Возможно, я найду их, если заговорю первым. Когда я хочу говорить - я поднимаю воду.

Я перехожу большой мост и вступаю на остров – мне так легче. У меня вообще все лучше получается на островах, к тому же здесь все еще ворчат погребенные каналы. Убивать каналы – все равно, что убивать острова. Я вдруг понимаю, что, наслушавшись жалоб набережных, домов и пыльных улиц, начинаю жалеть вместе с ними и себя, у меня ведь тоже не все так уж ладно. Если подумать, так нет ни одного консилиума, который бы еще не вынес бы мне приговора, венок моих болезней смертелен, конец неотвратим, весь мир против меня, и помощи ждать неоткуда.

Я усмехаюсь. Ну и ну, давненько меня не посещали такие мысли. Есть города, которых держит воля, своя или чужая. А есть те, которых держит жалость к себе, опять-таки, своя или чужая. Вот ты и хлебнул ее, этой жалости, как воды из реки. Ладно, говорю я себе, не отвлекайся. Все дело в том, что здесь давно не прибирали.

Май – это уже почти лето, и в приоткрытое окно под самой крышей выдувает кисею занавески. Я знаю, что сейчас будет музыка. На мгновение устанавливается полная тишина, как перед грозой, и я как раз успеваю привстать на цыпочки. А потом на пыльную улицу выплескиваются «Времена года» Вивальди.

- Да! – кричу я городу, небу и реке, - Да! Можно!

И обрушиваю дождь.

Сверху несется стена воды, снизу ревет стена воды, реку вспучивает за пять минут, с залива налетает ветер, приносит новые тучи, гонит течение вспять. Сначала несмело, будто пробуя мокрой ногой сушу, река карабкается по ступеням, потом все быстрее взбегает вверх, выплескивается на набережные, захватывает тротуары, крутит мусор и уцелевшие от зимы листья. Отовсюду, от топких подвалов, из решетчатых люков, по трубам с крыш, от самого дна реки и самого дна неба несутся, сталкиваются, плещут потоки. И вот уже

улочки превратились в каналы, припаркованные машины нелепо тычутся друг в друга, едва касаясь колесами асфальта. Я иду по щиколотку в воде и выкрикиваю что-то в рифму.

Из окна с кисеей высовывается голова, смотрит на потоп, затем быстро исчезает. Я слышу топот ног по лестнице. В распахнутом подъезде появляется человек – в джинсах, сандалиях и наспех натянутой футболке. Он смотрит сквозь ливень и воду и произносит с восторгом и ужасом:

- Ой, что же это я наделал!

Меня окатывает этим ужасом и восторгом, как теплой волной зеленого залива. Я хохочу, я совершенно счастлив.

- Ах ты паршивец! – раздается у меня за спиной.

Грубые сильные пальцы хватают меня за ухо и тянут вверх.

- Ты тут пошто безобразишь, а?

Я вырвался, отскочил и обернулся, готовый убить обидчика.

Он возвышался надо мной, как башня, на голову выше меня, темный и заросший. Седая шевелюра окружала зеркальную плешь, а усы и борода порыжели от табака и были полны табачных крошек. Одет он был в какие-то лохмотья, в несколько слоев: из-под дворницкого ватника в пятнах выглядывал шитый золотом мундир, блеклые галуны свисали до самой воды и плыли по ней, как змеи. Из-под мундира юбкой торчал кафтан, когда-то хорошего сукна, а теперь весь в прорехах. Из левого рукава выглядывало кружево манжета, правая рука была забинтована, бинт едва угадывался под слоем грязи.
К тому же, он источал запах. От него махло мочой, сыростью, подгнившей рыбой, горячим постным маслом, стоялой водой и снегом. Но откуда-то, из-за левого плеча или, быть может, из кармана камзола, просачивался запах водорослей в пресной воде, нагретого на солнце песка и цветущего шиповника, и я смягчился. И даже изобразил раскаянье на своей физиономии.

- Э, да ты, малец, нездешний, - растерянно сказал старик. – Вот те на. А я тебя за человека принял. А все одно, безобразить нечего.

Он внушительно погрозил мне пальцем, а потом обернулся на человека в дверном проеме. Нагнулся, зачерпнул воды и плеснул ему в лицо.

- Кыш домой!

Человек встряхнулся и заморгал, как со сна. Вода стремительно уходила. Человек пожал плечами, усмехнулся сам себе и побрел вверх по лестнице.

- Вот так вот! – сказал старик ему вслед. – Нечего тут. И так делов наделали. Он махнул мне рукой – иди, мол, за мною, - и вошел в подъезд. В подъезде оказалось неожиданно темно, только угадывалась большая лестница наверх да проход под нее. В конце прохода, будто вырезанный из света, маячил золотой прямоугольник черного хода. Старик шел прямо на него. На пороге он остановился и снова поманил меня.

- Вишь, что вы наделали-то?

За черным ходом открывался двор, залитый таким ярким солнцем, что я даже зажмурился. Весь центр занимал крохотный сквер: две скамейки, четыре куста сирени и две дорожки накрест. По двум углам сквера, смыкаясь ветвями, росли исполинские тополя, огромные, выше дома. Асфальт был густо усеян зелеными «сережками».

- А? Каково?

Старик снял с пояса огромную связку ключей, апостолу Петру впору, и одним из этих ключей тыкал в сторону двора.

- Замечательный двор, - сказал я. – Фонтанчик бы еще сюда.

- Куда как замечательный, - отозвался старик. Он отпихнул меня с порога, дотянулся до двери черного хода и захлопнул ее, только солнечные щели остались. Вставил ключ в замок и начал поворачивать, приговаривая:

- Открывают, открывают, закрывай за ними потом. А что открывают, сами не знают.

С каждым поворотом ключа свет в щелях становился слабее, пока вовсе не исчез. Что-то щелкнуло. Запахло сырой штукатуркой и кошками.

- Да ты просто апостол Петр, - усмехнулся я.

- Куда мне! – отозвался старик польщенно. – Питер я. А за дверью этой не рай, а детство. Таким этот двор был, когда ему три года было. Потому и тополя громадные. В настоящем мире таких нету. Оставить их, - а они прогниют да рухнут, да на дом! Да и солнца я столько не напасусь, неоткуда мне его взять. Пошли, покажу, каков этот двор на самом-то деле.

Мы вышли из парадного подъезда и свернули в арку. В арке было сумрачно и пахло подгнившими овощами; в самом дворе и свет, и запах слегка усилились. У брандмауэра выстроились мусорные баки с темными лужами под ними. Двор был наглухо залит асфальтом, его перегораживал ряд машин, причем одна из них явно зимовала здесь не первый год.

Старик подошел к тому месту стены, куда открывался черный ход, быстро очертил узкий прямоугольник и перечеркнул его от косяка к косяку. В стене появилась старая, рассохшаяся дверь с железной полосой поперек. Я поднял глаза. На верхнем этаже, боком на подоконнике, сидел и курил мой человек. Он смотрел во двор, который только что выглядел совсем иначе, смотрел на машины и трещины в асфальте, и лицо его не выражало ничего, кроме усталости. Питер возился с замком на железной полосе, и я тихонько сказал: «Эй».

Солнце ударило в маленький двор, асфальт превратился в желтые плиты мостовой, на крыше проступила черепица, стены покраснели, окна вытянулись вверх, обросли синими ставнями и белыми каменными наличниками. В центре двора появился фонтанчик с питьевой водой, с маленькой мраморной чашей, в чаше плескались голуби. Узкая лестница вела из двора на галерею, опоясывающую дом на уровне второго этажа.
Меня снова окатило знакомой волной; сигарета, скуренная наполовину, упала вниз и рассыпалась искрами по асфальту. Я улыбнулся и убрал наваждение. Ко мне с довольным видом обернулся Питер.

- И все крыто-заперто! – объявил он. – Ибо сам Петр Лексеич написал Леблону на чертежах жилых домов: окна да двери делать в два раза уже, понеже у нас не французский климат!

- Я слыхал, он окно в стене вырубил, когда ему душно показалось, - заметил я, глядя на него.

- Ну, мало ли! – насупился Питер. – Это вообще в Голландии было, потом легендами обросло. А скажи-ка лучше, откуда ты взялся. С виду – малец совсем. Из тех краев, что ли? Сателлит при столице?

- Ну, вроде того, - рассмеялся я. – Уж не Рим, во всяком случае!

- Ты на праздник, что ли, прибыл?

- Я просто путешествую. А что за праздник?

Питер приосанился.

- День рождения мой завтра празднуют. Весь город во флагах да штандартах, ночью корабли придут, карнавал будет. Фонтаны пустят, которые еще не пустили.

- Фонтаны! – протянул я почти завистливо. – Здорово как. Я бы посмотрел.

- Так ведь и сейчас многие работают. У Адмиралтейства, да на Невском, да много где. Ты что ж там, не был еще?

Я отрицательно помотал головой. Питер улыбнулся и сделал широкий жест.
- Добро пожаловать, гость заморский. Пойдем, покажу тебе все.

Мы выходим к набережной и идем мимо барж, груженых лесом, мимо большого моста, за которым вдруг возникают фигуры двух сфинксов («Египетские, за великие деньги перекупили у французов!»), мимо дворцов и скверов. Питер перечисляет: Академия художеств, Румянцевский сад, дворец Меньшикова, манеж, Университет. Всюду колонны, лепнина, большие окна в частых переплетах. Даже не верится, что я только что вышел из вонючего двора, где всех украшений – мятые водосточные трубы.

- Вот были люди – цари, полководцы, европейские светила! – сетует Питер. - А нынешние что? Измельчали. Не люблю нынешних людей. То есть не то что не люблю, - не понимаю. Ведь живут среди такой роскоши, так хоть ценили бы! Нет, им все мало. И рушат, рушат, старое рушат, а новое строят такое, что уж лучше бы дыра оставалась. Живут у меня, как у Христа за пазухой, а порядку все не знают.

Я вижу, что он просто жалуется, что никакие мои соображения на тему воспитания любых тварей, населяющих тебя, - что двуногих, что в шерсти, что в перьях, - ему совсем не нужны. Я это вижу, но все равно говорю:

- Так избавься от них.

- То есть как это? Они же жители. Граждане. Всякому городу нужны граждане, без граждан никак. Да и жалко их.

- По мне, если своих граждан просто терпишь, так уж лучше без них. Они же чуят, что терпишь. И всегда ими недоволен. Он хмурится, смотрит исподлобья.

- А ты? У тебя-то что, граждан нет? Или они сплошь ангелы?

- У меня живут только те, кто не может не жить у меня, - отвечаю я, и Питер неодобрительно крутит головой.

- Немного ж у тебя, видать, жителей.

- Немного. Жить у меня непросто.

Питер внезапно останавливается, выпрямляется во весь рост. И тотчас становится похож на шпиль Петропавловской колокольни: светлая игла, вонзенная в небо.

- Я бы хотел, чтобы у меня можно было просто жить. Просто жить и все, - говорит он с неожиданной тоской. – Но, видно, не судьба мне. Слишком близко болота, слишком близко небо. Вот все и прыгают выше своей головы, да скоро выдыхаются, потому как чем выше прыгают, тем глубже вязнут. Ожесточаются, упрямятся. А знаешь ведь, что случается с теми, кто лезет на небо из одного только упрямства?

- Они утрачивают язык и перестают понимать кого-либо, кроме себя, - отвечаю я.

- Именно так, - говорит он.

Небо будто давит ему на плечи, он снова сутулится, смотрит на воду. От воды несет холодом. Мосты тянутся к садам и дворцам, как цветы к теплу, тянутся и не могут дотянуться. Огромный всадник громоздится через реку над набережной, постамент его – кусок гранита, а кажется, что облако. Вот-вот сорвется с него, поскачет по воде, аки посуху, только бабки коню замочит.

- Вот ради этой красоты, - говорит Питер, - полегло здесь столько народу, что до сих пор их кости держат болота. На мощах мучеников стою, как собор какой.

Я смотрю на золотой купол большого храма, на красные клены на площади вокруг всадника, на бело-зеленый органный угол дворца за мостом и думаю, что, по-моему, дело стоило того.

Между тем мой человек сменил сандалии на кроссовки, а футболку – на свитер и джинсовую куртку, и вышел из дома. Я догадался, куда он идет. Куда-нибудь, где продаются карты иноземных городов. Я спросил у Питера, где это может быть, узнал, что примерно в ту сторону мы направляемся, и послушно пошел за ним через мост. А он все рассказывал и рассказывал. Про балы до утра, про пожары, про наводнения, про веселое времечко. «Я столицей был, понимаешь ты, столицей, тебе, мальцу, и не понять, что такое быть столицей. Я молодой был, красивый, дворцы, сады, фонтаны, куда ни глянь. И мосты, и набережные». – «А потом?» - спросил я. Питер помрачнел.

- А потом пришли нигилисты эти, безбожники, установили новые порядки, да и отдали столицу Москве. У меня тогда кто не уехал, тот в блокаду погиб.

Переименовывали меня дважды, бездельники. Ну да я все равно выстоял. Святой Петр-апостол мне покровитель и защита, и, как меня не зови, был я и есть Питер, сиречь камень. Камнем только и жив, не будь его, давно вода бы затопила. Знаешь, какие наводнения у меня тут бывали! Каждый раз думаю: все, конец мне настал. Но ничего, как-то обходится.

Я удивился.

- Стоишь на воде и боишься воды?

- Как же ее не бояться, если она за каждой дверью? И дети эти, несмышленыши, так и норовят все пооткрывать.

- О ком это ты?

- Да обо всех этих малолетках, что ходы открывают. Ты ж только что видел одного. Ну, от него пока вреда немного, он мечтатель. А такие феномены попадаются, куда там Калиостро! Вот,

к примеру, идет такой через темные дворы, а мысли у него Бог знает где витают. Да и выйдет в задумчивости в арку, которой на том месте отродясь не было. И хорошо еще, если просто пройдет, а если потеряет что-нибудь, или, еще хуже, принесет оттуда? Так-то любую дыру несложно зарастить, а после обмена – поди, закрой ее. Вот я и занимаю их, чем могу, штучки разные подсовываю, фокусы показываю, лишь бы заняты были. Ты чего так смотришь? Не слыхал, что ли, об изнанке городской?

- Слыхал, почему же нет, - осторожно ответил я. – У каждого города старше ста лет она есть. Бывает, и раньше наращивают. Только что плохого в том, что на изнанку проходят люди?

- А то, что она у меня и так вся в дырах. Вода-то рвется оттуда ко мне, ей только щелочку приоткрой, - сразу хлынет. А это тебе не Нева, там вода другая. Хлебнешь ее – навек разум потеряешь.

Я едва верил своим ушам. Столетия подряд вода изнанки городов давала силу магам и колдунам, да и целители ею не брезговали. Хотя да, отведав эту воду единый раз, уже никогда не могли видеть мир прежним, но ведь за тем и шли. «Разум потеряешь», надо же. Неудивительно, что у него вся изнанка в дырах, подумал я, заделывают-то ее маги, и уж конечно же не с лицевой стороны.

Питер меж тем продолжал ворчливо:

- Уж и не знаю, откуда они берутся на мою голову. Желторотые, дети бессмысленные, им бы в университетах над книжками сидеть, а они – в мистику. А потом по весне, то одного из петли вынут, то другая на Петровской косе всплывет. А все от мистики, от Елагинских бредней. Был у меня такой, колдовал у себя на острове, все в мальтийцы рвался. Хлопотал, да так ничего и не выхлопотал. Оно и слава Богу. Не верю я во франкмазонство это, в колдовство да мистику.

- Хм, - сказал я, пряча улыбку, - В мистику не веришь, а двери на всякий случай запираешь?

- А как же, - отозвался он. - Ведь поналезет же всякого. Мне и своих привидений хватает, в иных домах их до десятка. Да Лишний мост этот еще.

- Что за Лишний мост?

- А появляется иногда. То от Сенатской, то от Коломны. Куда уводит – бес его знает. Кто по нему ни ходил – ни один не вернулся. Я иногда малолеток нарочно к нему вывожу. Уходят, как миленькие. Плачут, а уходят. И лучше так, чем в петлю.

Я хорошо знал, куда они уходят. Кто-то так и пропадал в пустоте, но некоторые выкарабкивались. Но до сих пор я не знал, откуда они приходили. Сквозные, легкие люди. Реальность плавится вокруг них, как в жерле вулкана, все, что угодно, можно вылепить в их присутствии. Любой город мечтает заполучить такого странника и оставить у себя хотя бы на время. А этот – спроваживает. Ну и ну.

- Но как же ты сам без Сквозных людей?

- Что еще за сквозные люди? – насторожился Питер.

- Люди-сквозняки. Люди, через которых дует ветер, с лицевой стороны мира на изнанку и наоборот. Люди-форточки, люди-окна. Через них смотрят другие миры в этот, через них этот мир отваживается смотреть на других. Держатели, хранители. Те, в кого вырастают твои несмышленыши, как ты их называешь. Если выживают, конечно. Самые лучшие – настоящие флейты в руках Того, Кто играет.

Сказал – и тут же пожалел об этом. Питер навис надо мной, как нависал давеча на острове, упер руки в бока и прошипел сквозь зубы:

- Ты мне голову не морочь! Ничего не выходит из этих ворожей! Добро еще, если их удается к ремеслу какому приспособить, по дереву там или камню, вон, Мухинское да Академия художеств, учись, твори на здоровье! А угодно Господу послужить, так иди, дружок, в семинарию! Слышать не хочу об этих безобразиях! Молод ты еще, о Божьих флейтах рассуждать! У тебя, небось, этого народу нету. Из них выживает один на дюжину, если хочешь знать!

- Я знаю. Но этот один... – начал было я, но он меня перебил.

- А с остальными мне что делать? Смотреть, как они себя губят пьянством да бабами или еще чем похуже? Я лучше смолоду у них эту дурь выбью!

Я прикусил язык. Этих я тоже видел. Место под сквозняк у них остается, но оно забито со всех сторон. Его затыкают чем попало: когда придуманными героями, а когда и живыми людьми.

И оно вечно голодно, это место. И всегда болит. Поэтому тех, кем его кормят, приходится менять очень часто или держать целую свиту.

- Вот он, твой Дом Книги, - сказал вдруг Питер. - Вот этот, с глобусом. И запомни. Запомни хорошенько: я не виноват. Ни в тех смертях, на которых меня построили, ни во всех тех, что потом, особенно осенью. Я в них не виноват. Хорошо это запомни. Ясно тебе?

- Ясно, - сказал я. – Я тебя и не виню. А сейчас извини, я хотел бы побыть один.

Он посмотрел на меня почти испуганно, видно, почуял неладное. Когда я зол, я очень скор на расправу, хотя с годами научился сдерживаться.

- Ты хотел фонтаны посмотреть, - сказал Питер совсем другим тоном. – И корабли. Ты не гневайся на меня, старика. Я врать не умею, все, как есть говорю. Придешь потом на набережную?

- Приду, - пообещал я, и Питер сразу приободрился.

- Ну и славно. А мне, кстати, нужно на Дворцовой за рабочими присмотреть. Ты погуляй тут один пока.

Он отпускает меня почти величественным жестом, поворачивается и уходит.

А я прохожу мимо дома со стеклянной башней на углу, мимо его огромных витрин и дверей с массивными бронзовыми ручками, иду вдоль канала до пешеходного моста, встаю посреди него и смотрю на воду. Я смотрю в темные глубины канала до тех пор, пока мне не становится легче.

- Вы напрасно так сердитесь на него, Сереniссима*, - говорит вдруг человек, стоящий рядом со мной.

Я поднимаю голову. Я не заметил, как он подошел. Он стоит, опершись локтями о перила моста и говорит вниз, словно обращается к воде канала. Он уже не молод, но еще совсем не стар. В разгар питерского мая на нем длинное темное пальто и перчатки, и если он не местный житель, то, во всяком случае, хорошо знал, куда едет. Он чуть косит в мою сторону глаз, заговорщически усмехается - и вот тогда я узнаю его. Этот сквозняк не спутаешь ни с каким другим, я почти чувствую запах белой полыни и мяты.

- Я вас помню, - говорю я вместо приветствия. И поясняю: – Я не сержусь. Но я не понимаю. Как будто их двое. И один отрицает другого, и обоим душно друг с другом.

- Я здесь родился, - отвечает он. – От этого невозможно отказаться. И родись я где-то еще, я был бы чем-то другим. Вы понимаете, его строили как окно, как мост, как переход, - из одного мира в другой. Это тяжкая ноша. Другие города становятся мостами постепенно, и то, если захотят, а его никто не спрашивал. Выдернули за волосы из болота, как Мюнхгаузена, даже опомниться не дали. Вот он и ворчит, и мается. Он бы и рад пожить спокойно, но суть его такова, что здесь рождается великое множество поэтов и беглецов. Не так-то просто воспитать из них Сквозных людей, особенно, когда толком не знаешь, кого воспитываешь. Поэтому многие не выживают. А те, кто выжил, как правило, стараются уехать. Но рождаются-то они здесь.

- Лежат только почему-то потом на Сан-Микеле, - сварливо отвечаю я. И добавляю тоном ниже: - Вы ведь тоже больше здесь не живете.

- Я и у вас не живу, - возражает он. – Но ведь вам это и не нужно. Вам нужны те, кто изо всех сил бы хотел, чтобы вы жили. А где они при этом живут – какая разница.

- Это правда, - говорю я.

Я помню, как он пришел. Как кружил по улицам и площадям, как заглядывал во все дворы, как перебирал ракушки на взморье. Как трогал каждый камень, сидел на ступенях и в маленьких кафе. Я помню, какой ветер поднялся за те три дня, что он у меня пробыл, свежий ветер, пахнущий мятой и белой полынью. Я выкладывал перед ним одно свое сокровище за другим, купался в его изумлении и ликовал: мой человек, мой, навеки мой. И где он при этом живет – какая разница, все равно он мой.

- Так вот, - говорит он, - Питеру тоже очень нужны такие люди, но он еще слишком молод, чтобы признать это. С его точки зрения, с нас нет никакого толку, ведь мы очень быстро кончаемся. Но это неважно, понимаете? Лишний мост – такая же часть Питера, как и белые ночи, как крики чаек сквозь утренний туман, как закатное солнце на крышах за Петропавловкой. Как все его башни, все каналы и печные трубы.

Я смотрю с узкого мостика на Невский. Солнце клонится к западу, его затягивает дымкой. Шпиль собора над каналом мягко светится в этой дымке, блик отражается в черной воде, громадная колоннада обнимает полукруглую площадь, будто большими темными руками. Из дома с глобусом выходит мой утренний знакомец, в руках у него пакет с книжками. Он идет вдоль канала, спускается к воде, садится на гранитную ступеньку и раскладывает на коленях книжки и карту, начинает искать по карте, сверяясь с книжками.

- Можете вы сделать для меня одну вещь? – говорю я человеку в темном пальто.

- Все, что угодно, Сереniссима.

Я прошу у него блокнот и ручку, пишу на листе бумаги три слова. А потом вручаю ему этот лист и стеклянное пресс-папье. Киваю на свое новое приобретение. Он смеется, да так, что вода подскакивает сразу на ступеньку вверх. И уходит вдоль канала.
А у меня за спиной немедленно возникает Питер.

- Опять вода поднимается, - говорит он. – Твоих рук дело? Не вздумай!

- Не беспокойся, - говорю я мягко. – Все будет хорошо. Пойдем лучше к набережной. Ты хотел показать мне корабли.

Я сижу на гранитном парапете у большого дворца, щурюсь на закатное солнце за Стрелкой Васильевского и болтаю ногами. У меня все получилось. В комнате за кисейной занавеской, на столе у окна, лежит карта, на ней – острова, острова, острова. Рисунок островов складывается в две руки, крепко держащие друг друга. Поверх карты - лист бумаги под стеклянным пресс-папье – прозрачная водяная капля, приплюснутая со дна, в цветных крапинках внутри и снаружи, детище Мурано. На листе наискось написано: «Fondamenta degli Incurabili». У меня все получилось. Скоро, очень скоро ноги в сандалиях и потертых джинсах пойдут по Лишнему мосту. И где бы они с тех пор не шли, они всегда будут идти вдоль воды и фонарей, по серой и желтоватой брусчатке, а вода будет ластиться к ногам.

Рядом со мной стоит Питер, крошит хлеб. Пальцы у него узкие, мосластые, с ровными, хоть и грязноватыми ногтями. К вечеру потеплело, он снял свой ужасный ватник, и теперь солнце золотит шитье на старом мундире. Из решетки люка вылезает большущая мокрая крыса, Питер подзывает ее, как кошку: иди сюда, дружочек, иди, я тебя поглажу. Крыса опасливо косится на меня, хватает большой кусок булки и убегает. Чайки и голуби топчутся поодаль, ждут, когда можно будет подойти.

Питер кидает им целую россыпь крошек.

- Да нет, ты не подумай, я не жалуюсь, у меня, вишь, все хорошо. Птицы вот только совсем одолели, гадят, несчастные. Наедятся дряни на помойках – и на памятники да на карнизы. Чистишь, чистишь, все без толку.

Я не очень-то люблю птиц, особенно голубей. Чайки еще куда ни шло, а вот голуби – сущие помоечные крысы, только в перьях. И уж конечно, если они живут в городе, то должны знать свое место. Я кошусь на Питера, - он в самом деле не знает, что делать с гадящими птицами? Или просто снова жалуется, и никакой совет ему на самом деле не нужен? Ладно, скажу, там пусть сам решает.

- Иглы, - говорю я.

- Что – иглы? – не понимает он.

- Иглы на карнизах. Тонкие проволочные иглы. Ни одна птица на такой карниз не сядет. А если сядет, останется там навсегда.

Он смотрит на меня так, будто увидел впервые.

- Слушай, парень, ты вообще кто? Я молодых-то на своем веку навидался. Но чтоб вот догадаться птицам иглы подставлять – это просто впервые такое. Хоть один Божий храм есть у тебя? Как тебя звать-то?

Я жмурюсь от солнечного света и думаю, что я здесь только гость, а он имеет полное право кормить своих крыс и запирать воду. Лет через триста он и без меня сообразит, что к чему, а сейчас я вряд ли смогу ему объяснить. Вода – моя кровь и плоть. А когда крысы принесли мне последнюю эпидемию чумы, его еще на свете не было.

- Веццо, - отвечаю я, глядя на солнце. – Веццо-Высокая Вода.

---

*Сереннссима – «Сиятельнейшая», давнее прозвище Венеции (*прим. автора*)

белая дорога

Коллекционировал темноту, вот что он делал.

Не сколько себя помнил, нет, гораздо меньше. Ему было уже лет шесть, когда после тяжелейшей ангины он вдруг начал бояться темноты. Никогда раньше не боялся, а теперь вдруг начал. Родители не стали настаивать и купили ему маленький ночник - лампочку, которая втыкалась прямо в розетку, плафон темно-синего стекла с прорезными звездами и лунами. Ночник мягко светился синим и желтым, с ним можно было не бояться темноты и спокойно спать по ночам, и так оно и было до тех пор, пока из интерната для математически одаренных детей не приехал на лето старший брат.

Последний раз они виделись, когда младшему было еще пять, и никакого интереса для выпускника восьмого класса этот головастик не представлял. Но шестилетний брат - совсем не то же самое, что брат пяти лет, поэтому, увидев ночник, старший поинтересовался, в чем дело.

После чего на следующий же вечер погасил в детской все огни, сел к младшему на кровать и велел выждать пять минут.

- А теперь описывай, что видишь, - сказал он, когда пять минут прошли.

- Стол, - неуверенно ответил младший. Старший брат молча ждал, так что пришлось продолжить: - Стул. Твои тетрадки. Мой конструктор на полу.

- Раз ты все это видишь, как ты можешь считать окружающее пространство темнотой? Ну сам подумай. Свет из окна, свет из-под двери. Плюс отраженный от всех поверхностей. Да тут куча света! Какая ж это темнота?

Темнота, сказал тогда старший, это не просто недостача света. Это недостача его до такой степени, что ты не можешь сказать, что там, в этой темноте, находится. Темнота может скрывать в себе все, что угодно. Поэтому тебе страшно. Но вот перед тобой твоя комната, ты видишь все, что в ней есть. Это не темнота, дурачок. И бояться тут нечего.

На следующий день младший попробовал не зажигать свет в ванной и как следует прикрыть дверь. Когда глаза привыкли к темноте, оказалось, что через вентиляцию поступает достаточно света, чтобы рассмотреть если не все, то довольно многое.

Потом он последовательно попробовал шкаф, туалет и два слоя одеял. С точки зрения отсутствия света два слоя одеял оказались самым действенным средством, но данная конкретная темнота совершенно точно содержала не все, что угодно, а просто его самого.

А потом старший брат уехал за город с друзьями и больше никогда не вернулся. Купались в слишком холодной реке, мгновенная остановка сердца, никто и ахнуть не успел.

А младший остался коллекционировать темноту.

Он пробовал все места, которые казались ему достаточно темными. Платяной шкаф ночью. Чердак на даче - последовательно во все времена суток. Заброшенный бункер, в котором в последнюю войну пережидали авианалеты. Закрытая изолированная лаборатория, если все обесточить.

Сначала говорил себе: чтобы больше никогда не бояться. Потом: чтобы увидеть наконец настоящую темноту. А потом - просто потому, что привык это делать. А еще потому, что очень скучал. Поиски тьмы не были данью, не были вообще ничем особенным. Просто скучал, имеют люди право скучать по умершим старшим братьям.
И каждый раз либо пространство было слишком мало для того, чтобы скрывать в себе что угодно, либо имелся хоть крохотный, но источник света, позволяющий разглядеть окружающие предметы.

Следовательно, под определение брата это все не подходило.

Ночью пошел пройтись уже больше из привычки искать темноту, чем из желания прогуляться: устал с дороги, в городе впервые, до рассвета еще часов пять, не меньше, выспаться бы. Но где-то в этом городе находилось специальное, абсолютно темное кафе, устроенное так, что посетитель действительно ничего не видел, затея была призвана поддержать слепых, дать, что называется, побыть в их шкуре, но у него был свой интерес, и когда начали искать специалиста в командировку на тестирование новой лаборатории, вызвался сам, и поехал, и теперь убеждал себя, что имеет смысл хотя бы найти это кафе и посмотреть часы работы.

Город как-то очень быстро закончился, дальше был огромный парк, следовало развернуться и уйти обратно к освещенным улицам, но он шел и шел по темным аллеям в пятнах редких фонарей, забираясь все глубже, так что городское зарево осталось далеко позади.

Вскоре кончился и парк, впереди маячила последняя аллея, на ней не горел ни один фонарь, а асфальт, несомненно, серый в свете дня, казался белым, особенно по контрасту с черной бахромой деревьев и кустарника по краям.

Он двинулся вперед по белой дороге, снизу поднимался весенний туман, как раз зацветали плодовые деревья, их белые шапки светились в темноте размытыми облаками. Из-за туч внезапно вынырнула луна, круглая и звонкая, как гонг.

С ее появлением все изменилось. Все, что было светло-серым - налилось белым светом. Цветущие ветки засияли как неоновые вывески, все мутно-белое стало ослепительно-белым. А все, что было темно-серым - ветки, тени, еще оголенная с зимы земля - налилось темнотой.

Это была совершенная темнота. Тени от деревьев вились по белому асфальту сложным и дробным узором, в глубине кустарника, на котором слой лунного света лежал как слой снега, тьма становилась абсолютно неразличимой, теряла свойства тени и приобретала свойства пространства. Свет накрывал ее сияющим платком, но под ним - под ним она шевелилась и перетекала, складывалась в гротескные или очень реалистичные фигуры, они рассыпались, стоило подойти чуть ближе - и появлялись заново, как только он удалялся на несколько шагов.

Он шел по белой дороге и смотрел во все глаза. Совершенная, совершенная тьма. Она - вот она могла скрывать в себе все, что угодно. Но каким-то удивительным образом ничего не скрывала, а скорее выставляла напоказ во всей красе - видимо, именно потому, что могла.

Шел бездумно, как во сне, мысли перекатывались в голове стеклянными шариками, сначала множество на коробку, потом все меньше, потом - вот уже катаются, ударяясь о стенки, только два или три. В конце концов остался только один, самый тяжелый, самый неповоротливый и невнятный: «вот зачем это все было», - а ноги несли по белой дороге вниз и вниз, а внизу ритмично ворочалось и рокотало, с каждым шагом все громче, невидимое, но безошибочно определяемое по запаху и звуку море.

СКАЗКИ ПРЕСВЕТЛОГО

сказка о человеческой жалости

...а все мои терзания, сомнения и расспросы, вся моя суета - это пыль, которую я сама себе напустила в глаза. Читатель, будь мне судьей, скажи, так ли это? И было ли это так, до того, как бог изменил мое прошлое? А еще скажи - если боги в силах изменить прошлое, почему они не меняют его хотя бы иногда из жалости к нам?

К. С. Льюис, Till we have faces

Сидел в пустом и холодном доме человек. На полу сидел или на стуле, это все равно, в доме тянул сквозняк, в доме пахло сыростью, человек сидел, раскачивался из стороны в сторону и жалел себя, может, три дня подряд жалел, может, больше уже. И то с ним в жизни сталось, и это, и

билетов в Крым не досталось, и зарплату задерживают, и баба, баба любимая бросила, а уж о дочке-то и говорить не приходится, дом нетоплен, в плите мыши гнездо свили, словом, Господи, все беды прошли над моей головой, Ты отвернулся от меня, голова моя горит, из глаз льются слезы, гортань залеплена гнусной слизью, обрати на меня внимание, Господи, мне так жаль себя, пожалей меня и Ты, пожалей, перестань снова и снова поджигать дом моей души, говорить со мной так, как только Ты и умеешь говорить - сдвигая причинно-следственные связи, проминая время и пространство, нет, Ты поговори со мной, как сейчас надо мне, ведь мне так жаль себя, вот если бы Ты был на моем месте, просто человек, от которого ушла баба и которому не хочется поста и воздержания, ему очень хочется есть и так себя жаль, так жаль...

И тут вдруг лампочка, на лапше над его головой болтающаяся, разгорелась ярко-ярко, даром что всего сороковка была, сквозняк ударил в дверь, вышиб ее настежь - и переступил порог холодного человечьего дома Сатана во всем блеске славы своей, и стало в доме вдесятеро холоднее.

Затрясся человек, даже жалость к себе забыл, страшно ему стало от этого белого холодного света, а Сатана придвинул себе табурет, сел, кисти длиннопалые с колен свесил, да и вздыхает так глубоко и с усмешкой. Человече, говорит, ты сейчас встань и иди из этого дома, вот тебе один ключ от машины, которая внизу, а другой от квартиры - натопленной и снедью набитой. И баба твоя там уже тебе ванну готовит и постель греет, ты иди, пожалуйста, потому что сил моих нету уже.

Отыди от меня, Сатана, говорит человек, а у самого губы прыгают, а глаза на ключи смотрят. Отыди, не верю я тебе, знаю я, что ты от меня за все эти благодеяния захочешь, да и где вера тебе, что есть они, эти благодеяния.

Сатана плечами пожимает да выдергивает у человека мобильник из-за пояса, три дня уж как мертвый за неуплату, и начинает тот мобильник вибрировать, а после плакать женским голосом: "Саша, Саша, вернись, пожалуйста, дура я была, Сашенька..." Дрогнула человечья жалость, посторонилась, другие мысли полезли. А все равно нету веры Сатане. Ты, дух нечистый, ты меня кровью расписываться заставишь, ты у меня душу заберешь, ты...

Ах да замолчи ты, пожалуйста, Александр Вадимович, тошно мне от твоего писку. Ничего не захочу ни сейчас, ни потом. Да и не ради тебя я все это делаю, ради себя.

Удивился человек - неужто, говорит, думаешь, что доброе дело зачтется тебе?

Нет, человече, я как существо тварное, тоже, как и ты, иногда нуждаюсь в отдыхе. Спать я хочу очень. Мне надо, чтобы ты наелся, напился и натешился со своей бабой, теплый и согретый, и тогда у меня перестанет рваться сердце, потому что ты глух и слеп, а я нет, и я слышу то, что Он отвечает тебе, и у меня рвется сердце от моей любви к Нему и от Его любви к тебе, гнусному слизняку с опухшей рожей и куцыми мозгами, к тебе, который ничего не может взять от Него, зато многое может взять от меня, а это все равно не умаляет любви Его, дрянь ты возлюбленная. Бери ключи и замолчи наконец, раз уж ты не в силах внять Его речи, бери, дай мне выспаться. Потому что когда ты сыт и опустошен женщиной, Он не подойдет к тебе по меньшей мере семь дней и будет жалеть тебя уже совсем иначе, и я отдохну от ревности своей и горя своего.

Ты тоже жалеешь себя сейчас, Сатана, не так уж куцы мои мозги, сказал ему человек, усмехаясь.

Берите ключи, Александр Вадимович, не травите мне душу, сказал Сатана с нехорошим взглядом, и человек пожалел Сатану и протянул руку.

недоразумение

- А-а, инкуба тебе в климакс! - заорала я и швырнула в дверь подушкой. Подушка не долетела, но дверь все равно захлопнулась со стороны коридора. Обычно я выражаюсь не так изысканно, но очень хотелось разозлить мать и потешить себя: она вряд ли знала, что такое инкуб, зато грядущего климакса боялась, как черт ладана. Если она пойдет за разъяснениями к своему батюшке, что это такое пожелала ей любимая дочь, будет совсем хорошо.

- Не надо так говорить, - быстро и очень тихо сказал ангел. Сходил за подушкой, принес и теперь стоял над кроватью, не решаясь сунуть ее мне под голову. - Особенно про маму.

- Дай сюда, - сказала я, выдернула подушку и пристроила в изголовье. Он сел на край кровати, сутулясь и неловко умащивая крылья. Крылья - это было единственное по-настоящему красивое у него. Ослепительно-белые, прозрачные и мягкие, похожие на тополиный пух в солнечном свете. Все остальное - коровьи ресницы, нелепые белесые волосы, короткие и торчащие во все стороны, как жнивье, детские губы, руки, покрытые гусиной кожей (мерз он, что ли?), голые ноги - вызывало во мне острое раздражение.

- А вы все время меня видите? - спросил он, явно стесняясь.

- Разумеется.

У меня неоперабельная опухоль мозга, левой височной доли. Я живу с этим диагнозом достаточно давно, чтобы пройти все пять стадий, исключая смирение. Вот чего от меня никогда не дождутся, дудки. Дис смеется, говорит, думать надо было меньше. Но он всегда смеется.

Помимо всех неудобств, доставляемых подобной, с позволения сказать, немочью, у меня еще и это: да, я их вижу. Собственно, стоило мне увидеть эту щуплую фигурку и зареванные лица матери и двух теток, как я сразу поняла, что именно они со мной сотворили.

- Очешуели у вас там все, - сказала я и повернулась на бок. - Вконец оскотинились. И ведь нашелся же поганец в рясе, а. Разве так можно?

Чудненько просто все складывается: бац, я отрубаюсь у себя на кухне, прочухиваюсь уже в больнице, явно не одни сутки спустя, и возле моей кровати маячит это. Ангел-хранитель, мля. И куда подевалось правило, что в бессознательном состоянии крестить нельзя? Я скажу, куда. Под очень толстую пачку денег, вот куда.

На самом деле я, конечно, не думала, что дело решили именно деньги. Я хорошо знаю, что таинство крещения над коматозником проделывают в исключительных случаях, и все эти случаи тщательно оговорены. Но я была очень зла. И мысль о том, что маменька просто-напросто купила какого-то священника с потрохами, доставляла мне сейчас большое удовольствие. Могла - и купила. У маменьки все всегда очень просто.

- Коза пластилиновая, - сказала я шепотом. - Истеричка. Язычница. Добилась-таки своего.

- Она хотела как лучше, - жалобно сказало крылатое недоразумение, и я повернулась и приподнялась на локте.
- Как лучше, да? Вот на кой ты мне сдался? Веры мне не хватает? Силы? Чего? Иди вон ее утешай! Кстати, не припомню, чтобы хоть кто-то из вашей братии рядом с нею ошивался. Могли бы выделить кого покрепче, ей бы не помешало!

- Ангел-хранитель дается только верующим, - выдало это дитя назидательным тоном.

- И на кой… леший ты мне дался? Ты вылечить меня можешь? Нет? Вали на свое небо, скажи, когда приду, плюну всем в рожи. Так и скажи. Что тут такое было, что они решились? Я что, гимны на латыни распевала?

- Нет. Только Данте в подлиннике. Ну, под конец. И еще на арамейском...

- Что? - изумилась я.

- Когда я появился, вы бранились на арамейском, - сказал мой ангел, будто извиняясь. - Но я же не сразу пришел, только после таинства.

Я снова легла, как-то разом обессилев. Ненавижу. Не-на-ви-жу. Гады, какие гады. Навязали на мою голову. Мало ей опухоли.

Он вдруг поднялся и присел перед кроватью, лицом к лицу ко мне.

- Я не могу вас вылечить, - сказал он. - Но я могу вот это.

И выдохнул, как на стекло.

- Подержи.

Я сунула ему ручку полиэтиленового пакета, взялась за вторую и принялась упихивать пижаму, зубную щетку, футляры с очками (на чтение и на письмо, и еще третьи, для улицы, но они были на цепочке на шее), тапки, полотенце, еще какую-то хрень. Мой ангел безропотно держал пакет. Он вообще, надо отдать ему должное, очень старался помочь, только постоянно демонстрировал полное незнание среды, в которой оказался. Из всех ангелов-хранителей мне

досталась просто уникальная бестолочь.
Три дня я провалялась в больнице, в понедельник явился мой лечащий врач, мы с ним уже пару лет хорошо знаем, куда идем. Ко вторнику он меня выписал. Мог бы и в понедельник, но понедельник мы потратили на препирательства: я настаивала, чтобы уволили ту дуру, которая была на дежурстве, когда мать протащила в больницу батюшку, Анатолий просил смилостивиться и забрать заявление, и, в общем, был прав, матушка в раже необорима. Как заметил однажды Дис, если бы моя мать была в войске Ганнибала, ни слоны, ни уксус ему бы уже не понадобились.

Ангел мой все это время вел себя очень тихо, грел мне чай, подтаскивал поближе разные мелочи, проповедовать не брался, даже послушно уходил за окно, когда я просила оставить меня одну. И сны. За те сны, в которые я погружалась с его помощью, я даже была готова простить ему нелепый вид и вечно хлопающие ресницы.

Единственное, что меня всерьез беспокоило, это - а ну как он столкнется с Дисом. Тот появлялся у меня, когда хотел, мог нагрянуть даже в самый неподходящий момент. И думать о том, что эти двое скажут друг другу на моей кухне, мне совсем не улыбалось. А уж думать о том, что Дис потом скажет мне... Язык у него острый, как скальпель, я, как всегда, буду сидеть с видом вытащенной на берег рыбы и проклинать чертову опухоль и чертову височную долю, и чертову свою голову, вмещающую слишком много для обычной человеческой головы. Вот чтоб мне быть нормальной тридцатилетней дурой со стрижкой "каскад" и мечтой о миллионере? Насколько бы все было проще.

"На кой я тебе сдалась, а? - спросила я как-то Диса. Это было третье или четвертое его появление. Он ходил ко мне, как в зоопарк, у меня все-таки опухоль мозга, а не слабоумие, чтобы вообразить что-то другое. - В мире полно баб, которые пол бы под твоими ногами целовали. Какого черта?"

"Ты варишь лучший кофе на этой несчастной планете, - ответил он, как всегда посмеиваясь. А потом вдруг сделался серьезен, кажется, первый раз за все время, и добавил: - А еще ты понимаешь мои шутки."

Такси от больницы я взяла по двум причинам: во-первых, у меня не было никакой уверенности, что я хочу видеть шоу "ангел в общественном транспорте", а во-вторых, мне в этом транспорте самой нехорошо. Я, конечно, сказала Анатолию, что огурец, но уже после лифта и двух лестничных пролетов огурец был вяловат и склонен к желтизне.

Была еще и третья причина. Мне хотелось поскорее домой. В мою кухню, где пахнет кофе и специями. В кабинет, заставленный книжными шкафами, так что огромный стол стиснут со всех сторон, а корешки и золотые обрезы блестят за дверцами почище любого драконова золота, и каждый раз, когда я сажусь работать, во мне поднимается алчность и нежность от одного только взгляда на книжные ряды. К любимому матрасу и гречишной подушке, в конце концов. У толстых пачек денег есть одно преимущество: на них не купишь здоровье, но можно купить комфорт.

- И даже ангела-хранителя, - проворчала я, нашаривая в кармане ключ от подъезда. Как будто мне все еще было необходимо настаивать на этой мысли.

В общем-то, я понимала, что деньги не при чем. Что где-то - наверху или внизу, неважно (но, разумеется, не *в самом* низу), - просто-напросто вцепились в открывшуюся возможность. Не навязать мне данного конкретного ангела, упаси Кто, а, ну... пометить территорию, что ли. И от этого понимания злилась еще больше. Я вам не фонарный столб, дорогие бессмертные.

Означенный ангел молча шел за мной, только таращился на лепнину и декоративный камин в вестибюле. Я забрала у него пакет (не знаю и знать не хочу, как это выглядело со стороны), поздоровалась с консьержем и вошла в лифт.

У дверей квартиры я остановилась и повернулась к ангелу.

- Вот что, - сказала я. - Если Дис, не дай Кто, сидит у меня, ты ведешь себя тише воды, ниже травы, ясно?

- Дис? - растерянно спросил он.

- Классику надо знать, - сказала я с удовольствием. - Раз уж людям навязываешься.

Он несколько раз сморгнул своими коровьими ресницами, потом все же ответил:

- Я знаю. Просто…

- Просто не встревай.

- Я постараюсь, - сказал он, но как-то неуверенно.

Разумеется, Дис восседал у меня на кухне. В антикварном кресле мореного дуба, закинув ногу на ногу, свесив с подлокотников длиннопалые кисти. Затертые джинсы сидели на нем, как влитые, рубашка была белее ангельских крыльев, он покачивал носком ноги в синем мокасине и смотрел на нас с веселым изумлением.

Подняться мне навстречу он, конечно же, не соизволил. Как всегда.

- Что это? - спросил он наконец.

- Мать подсуетилась. Меня не спросили, - буркнула я, бросая пакет в угол. - Кофе будешь?

- Буду, конечно. Иди-ка сюда, крылатенький, дай на себя посмотреть.

Я, делая вид, что ничего особенного не происходит, взялась за банку с кофе, специи и джезву, зажгла газ, проделала все необходимые манипуляции, поставила джезву на огонь и только после этого обернулась.

Ангел стоял перед сидящим Дисом, как нашкодивший школьник, опустив голову, едва не дрожа. По лицу у него ручьями катились слезы. Дис, подперев голову рукой, без улыбки рассматривал мое приобретение.

- Ты хоть знаешь, с кем связался? - сказал Дис с мягкостью, которой я у него никогда не слышала. - К кому тебя отрядили? Да я Лилит подвину, чтобы ее усадить поближе.

- Да-да, и колпак с бубенчиками подаришь, - вставила я, шалея от происходящего.

- Помолчи, - сказал он все так же мягко, но даже головой не качнул в мою сторону. - А ты отвечай.

- Больше никто не согласился, - прошептал мой ангел и икнул. А потом таким же заикающимся голосом добавил: - Ваша светлость, я должен просить вас немедленно уйти отсюда. Я обязан. Извините.

- Спятил, - констатировал Дис. - А если я сейчас возьму тебя за крыло и начну ощипывать, как цыпленка?

Мой ангел снова икнул.

- Я ничего не могу поделать, - сказал он, и с его подбородка капнуло на пол. - Я понимаю, что я тут не нужен. Но я уже здесь. И не могу поступать против своей природы.

Как он хохотал. Как он хохотал, закинув голову и лупя ладонью по коленке, обтянутой линялой джинсой.

Потом успокоился, протянул руку и взял несчастного за мокрый подбородок и дождался, пока тот посмотрит ему наконец в глаза.

- Учись, - лучезарно посоветовал Дис, встал, кивнул мне и вышел. Ангел остался посреди кухни.

Я, опершись о столешницу и сложив руки на груди, молча смотрела на это недоразумение. А он вдруг метнулся к плите, схватил джезву, та зашипела, перекипая - я совсем про нее забыла.

- Святые угодники, - ойкнул ангел и быстро выставил джезву на стол. - Горячая какая.

Я отлепилась от столешницы. Ну хоть какой-то со всего этого прок.

- Чашки в том шкафу, - сказала я. - Мне белую, от Виллерой и Бох.

сновидец

Так вот и ходит он много лет, от деревни к деревне, из города в город, из одной столицы в другую. Везде ему рады, везде ему почет и слава, хоть и не берет он никакой платы, кроме ночлега и еды в дорогу. И темные глаза его всегда печальны, а углы рта опущены вниз.

- Послушай, - говорит он, - я грезил и видел город. И город был как золото и в то же время стекло, потому что он был свет. Из света были его площади, твердого, как камень. Из света были

его сады, и свет шелестел в них и мерцал, как листва. Ангелы населяли его, у них не было крыльев, их подхватывал и нес все тот же свет, куда они пожелают или куда велит Он. И свет был в то же время звук, он лился отовсюду, и звук был как прекраснейшая музыка, как трубы и скрипки, от этой музыки хотелось кричать и плакать, раскинув руки. И я был счастлив в этих грезах. Но однажды я проснулся в полутемном доме, надо мной с лампой стоял хозяин, позади него шумно дышало все его семейство, и голос его срывался, когда он спросил меня:

"Кто ты? Здесь было светло, как днем, пока ты спал, и звучало пение ангелов".

"Я - сновидец", - ответил я, потому что мой город все еще стоял у меня перед глазами.

"Ясновидец! - ахнул он, а потом страшно обрадовался. - Скажи же, скажи же нам скорее, где наша корова? Два дня как она пропала, надежды мало, но, может быть, ты знаешь?"

И мой город исчез, а вместо него я увидел корову, она увязла в болоте и горестно мычала, мучаясь от жажды и молока, распиравшего вымя. Я описал этому доброму человеку место, с рассветом он пустился на поиски, а я попытался заснуть, но больше не видел своего города. С тех пор он не может вернуться. Не может увидеть город, где свет как камень, дерево и звук, а звук - как прекраснейшая музыка. Он видит пропавшие кольца, детей, котят и ягнят, он видит будущий урожай и даже исход великих сражений, но его темные глаза печальны, а углы рта опущены вниз. Ни у кого не пропадал город, который как золото и в то же время стекло, никому не нужно найти такую пропажу.

Мы идем по утренней дороге, босиком по траве на обочине. Какое-то время я молчу, а потом решаюсь сказать.

- Послушай, - говорю я, - послушай. Я - лекарство от твоей болезни. Только ты можешь мне помочь, помоги мне. У меня пропал Бог.

Никогда я не видел, чтобы плакали так внезапно и сильно. Он остановился, втянул в себя воздух, а выдохнул уже рыданием, и смехом, и слезами из ярко-синих глаз. А потом истаял в утреннем золотом свете, как роса на траве. Дальше я шел по дороге один.

Я ищу человека, у которого пропал бы Бог. Который как свет, который как музыка, который как золото и в то же время стекло. Сколько можно мне возвращать этих упавших, они как дети, я же брожу по этой земле уже столько лет - из деревни в деревню, от города к городу, из одной столицы в другую.

письма с Земли

Каждый раз он тщательно готовится.

Расчищает письменный стол, зашторивает окна. Берет лист плотной писчей бумаги. И от руки, ровным крупным почерком выводит строчку за строчкой.

Родной мой, Не писал тебе почти неделю, болел какой-то тягучей гадостью. Болезнь сама по себе отвратительна, но после нее вдобавок такая слабость, что уж лучше жар. Ты не подумай, я не жалуюсь, но это так стыдно: еле выползать к плите, чтобы поставить чайник, сидеть, сложа руки, и тупо смотреть, как он выкипает, потому что не встать, чтобы выключить.

У нас весна, как всегда промозглая, с ветром и дождем, с низким небом. Но иногда появляется солнце, и город становится красив мальчишеской подростковой красотой, звонкой и немного злобной, и такой близкой. Можно ходить по улицам и весело задирать друг друга, пока нет зелени и от солнца спрячешься только в тени домов, деревья прозрачны насквозь, до последнего растрепанного гнезда в развилке ствола. Но к закату становится тихо, знаешь, как устают дети: только что прыгал, а сейчас уже упал и спит.

Родной мой, как же я по тебе скучаю. Весной это почему-то чувствуется сильнее, это похоже

на холодный прут внутри, от горла до живота, его чувствуешь каждую секунду, и приходится много работать, чтобы забыть о нем, но вот эту неделю я болел, и в слабости скучал сильнее, чем обычно, и старался не выходить из дома, потому что люди же везде.

В метро они стоят и держатся за руки. В кафе кто-нибудь быстро накроет своей ладонью чужую ладонь, - и мой прут подпрыгивает, врезается в горло, я хватаюсь за сигареты, потому что табак притупляет все чувства, и если немного подышать, ни о чем не думая, медленно и ровно, становится легче.

А потом увидишь чью-нибудь тень на стене, или донесется музыка, или кто-то кого-то окликнет по имени, - и прут снова прыгает в горло.

Я привык, ты не думай, давно привык тут без тебя, я справляюсь, у меня все есть, и все вдоволь, а если чего-то нет, то только потому, что я поленился.

Кроме тебя, кроме тебя, кроме тебя. У меня здесь есть тело, и я думаю о тебе телом, я думаю о твоем запахе, о том, как ты звучишь, о том, какие у тебя глаза и руки, хотя отлично понимаю, что все это так условно. Но у меня есть тело, и мне хочется думать, что у тебя оно тоже где-то есть, ты знаешь, я стоял однажды вечером на южной террасе, и кругом было так тихо, что сквозь ночь донесся голос муэдзина из татарского поселка ближе к вершине холма: "Славлю совершенство Бога, Вожделенного, Сущего, Единого…» Ты вожделен, старший мой, адонэ, эли, вожделенный, сущий и единый для миллионов тел, глаз и рук, но, может быть, но всей этой планете только я именно скучаю по тебе, так, как можно скучать в отъезде за три моря или живя в другом городе...

Дописав, он складывает лист и прячет его в узкий прямоугольный конверт. На конверте надписывает адрес и имя, а потом тщательно сжигает письмо в большой пепельнице на столе. Дым и запах гари немедленно наполняют маленькую комнату, исписанная бумага горит плохо, но он поворачивает остатки пинцетом так и эдак, чтобы остался только пепел.

А потом берет новый лист бумаги и новый конверт, на листе выводит «Мальчик мой...» - и еще множество слов, перескакивая с языка на язык, с кириллицы на латынь, на арабскую плоскую вязь, две последние строчки пишет справа налево.

На конверте надписывает адрес почтового отделения, свое имя и пометку «до востребования». Долго ходит по квартире, курит и пьет кофе, а потом одевается и идет на почту. У входа бросает конверт в синий ящик на стене. Заходит в отдел доставки, опирается на знакомый прилавок, здоровается и спрашивает, как спрашивает каждый раз:

- Есть мне что-нибудь?

На почте его знают, знают, что он приходит раз в неделю, давно уже не спрашивают документы.

- Да, - весело говорит пожилая тетка-оператор и смотрит на него поверх очков на толстом коричневом шнурке. – А как же. Вам всегда есть. Расписывайтесь.

И выдает узкий белый конверт.

ДЕВОЧКИ

последняя из рода

Мать убьет ее.
Просто убьет.

Сколько раз говорила она: никогда никого не подпускай к своим волосам - с гребнем ли, с ножницами ли, с чем угодно, ничьи руки не должны касаться этого жидкого золота, текучего меда, желтого моря. Ты такой жабенок, говорила мать, волосы - это все, что у тебя есть, можно подумать, что я родила тебя от кого-то другого, ты совсем не в отца, а ведь красивее его на свете никого не было, ну хоть волосы мои, так смотри за ними, смотри как следует, они дорогого стоят.

Жабенок, конечно, жабенок и есть - худая, большеротая, скуластая, с бледными глазами на бледном лице, дурнушка, особенно рядом с матерью, всей красоты и есть только, что волосы. Она слыхала это множество раз, тысячи, сотни тысяч раз, сложно было не запомнить, хотя вообще-то память у нее не слишком хорошая, дырявая, вообще-то, никудышная память.

Кое-что она хорошо помнила - лес и башню, огонь в камине и псов у огня, и мать, расчесывающую ее золотой водопад вечерами. Материнский смех - то ясный и звонкий, как пенье реки у подножия башни, то визгливый и злой, когда она в ярости гнала от себя псов, огромных поджарых псов, исполнявших любое ее желание, трусивших перед ней, как свиньи перед Цирцеей. У них были на то все основания, у этих больших, лохматых кобелей, они все еще рассчитывали когда-нибудь снова стать людьми, но мама смеялась и говорила, что пес - самый благородный облик для вонючих похотливых козлов, и тут она не могла не согласиться с мамой, потому что уж конечно лучше быть псом, знакомым, лохматым веселым псом, чем непонятным вонючим козлом. Но визгливых ноток в мамином смехе боялась, как и псы, убегала в лес, пряталась, спала в кучах осенней листвы. Мать отходила, спохватывалась, вспоминала о ней, посылала псов, но их и посылать не надо было, матери они боялись, а ее любили, ее вообще любило зверье, ни разу никто не укусил и не поцарапал, они прибегали за ней, звали, вели домой, и мать, бранясь, осторожно вычесывала листья и мусор из ее золотых волос, повторяя, что раз больше ничего нет, так хоть это надо беречь, а не валяться неприбранной в сырой листве.

А вот войны людские, сколько их ни было вокруг - не помнила вовсе, запомнила только последнюю, потому что с нею в лес впервые пришла зима. Мать все меньше смеялась и все больше визжала, люди теснили лес все настырнее, все выше поднимались по реке, мать уже не превращала их в псов, а просто убивала, и лес стал неприятный, хотя на диво разросся на могилах, нехороший стал лес, тихий, темный и пустой, и скоро мамин Зверь не выдержал и ушел, он и так-то появлялся очень редко, он не любил собак. И когда в лесу впервые настала зима, она поняла, что Зверь ушел навсегда. Если только его не убили люди - люди всегда охотились на таких, как он, в башне висела даже пара гобеленов с изображением такой охоты, хотя мама и говорила, что это - чушь, бубенцы эти, флейты, непорочные девы и золотые уздечки, должно что-то случится с лесом, чтобы Зверь вышел оттуда, а тогда уж лови его, если сможешь.

Зверь ли ушел и пришла зима, наоборот ли, но жить в лесу стало совсем невмоготу, и она вышла, прямо по снегу, и попала на какой-то солдатский лагерь, их много было, этих лагерей, она уж не помнила, сколько. Там ей сообразили какую-то одежду, все хотели куда-то отправить, как-то устроить ее судьбу, но она быстро догадалась и затвердила еще одно правило своей жизни - никогда не говори о себе первая и нигде не задерживайся долго. Они сами все рассказывали ей за нее - сирота, тронулась немного, ничего удивительного, бедные дети, эта проклятая война, эти проклятые русские иваны, эти проклятые немецкие фрицы. Они так перемелькались в ее голове, что после той зимы она долго не помнила ничего, да и не хотела помнить, потому что внезапно выяснилось, что зима приходит каждый год, приходит надолго, и в это время в лесу не проживешь, особенно, когда нет рядом ни мамы, ни гончих псов, а сама она еще проделывать такие вещи с людьми не умела. Всей ее силы хватало, чтобы немного отвести людям глаза, вовремя исчезнуть, ловко ответить на совсем уж непонятный вопрос, сделать в "бумагах" то, что они более всего ожидали видеть. И ни в коем случае не говорить о себе, нигде не задерживаться подолгу и никого не подпускать к волосам.

Этот город стоял на реке и был похож на ее лес - такой же злой, сильный и напитавшийся мертвыми, и зима здесь царила две трети года, - может быть, поэтому она оставалась в нем дольше, чем следовало. Теперь это было проще, - и научилась, и в семьи брали охотно, главное было - вовремя уйти, когда почуешь, что пора, хватит уже, косо начинают смотреть. Что дичилась всех и вся, никому не казалось необычным, таких теперь и среди людских детей много было, золотая коса только выдавала ее везде, не было подобных волос у дворовых побирушек, не могло быть, и приходилось жить в семьях, молчать в женские глаза, снова слышать визгливый смех,

понимать, что Зверь никогда не найдет ее здесь, даже если будет искать, ему просто в голову не придет, что хоть кто-то из ее народа способен выжить в этих домах грязно-желтого цвета, где всегда пахнет гнилой водой и жареной рыбой, запах жареной рыбы она не выносила, рыбу вообще видеть не могла, так у нее и осталась эта связка в голове - жареная рыба в протухшей воде, от одной мысли об этом желудок выворачивался наизнанку.

Слишком задержалась она здесь, в тополином пуху, в липовом цвету, заблудилась в мостах и деревьях, заговорила иначе, не туда вышла, когда вернулась - сказала лишнее. Сколько раз повторяла себе - не говори, никогда ничего не говори, а тут - не удержалась, то ли небо было синее обычного, то ли река нашептала недоброе. То ли устала прятаться и не помнить, не знать, не видеть, не жить и не умирать, так устала, что река подошла к самым глазам, небо забило горло, ни вдохнуть, ни выдохнуть, а люди ведь цепкие, сразу схватились за нее, принялись трясти, вытрясать как можно больше, им всегда интересно чужое, чтобы потом поставить на него клеймо "не бывает" - видела она эти заспиртованные препараты, знала, куда они прячут свои сны, кто ее за язык дернул?

Ее и раньше трясли, но тогда она другая была, более живая, и Зверь был ближе, и дорога обратно еще была открыта, - по крайней мере, так ей казалось. Трясли много, ничего не вытрясли, научили обходить ловушки.

А сейчас - устала. Тяжело быть подростком, шестьсот ведь с лишним, самый переходный возраст, с точной даты всегда сбивалась, но столетья помнила. Сорвалась, дала довести себя до слез, заснула без сил, а проснулась уже в совсем незнакомом доме. Кровати - рядами, свет не гаснет ни на час, решетки на окнах, двойные - прутья и сетка. Люди лежат или ходят вдоль стенок, друг от друга шарахаются.

Но это бы ничего. Уходила она и не из таких мест, умела уходить, лишь бы муть эта в голове прошла, что они ей дали выпить такое вчера, что она даже имя свое забыла? И рвань на плечах - ничего, бывало и хуже; и запах этот, насквозь больной запах человеческого безумия - это все можно было пережить, хотя сегодня с утра тоже дали что-то желтое в воде, гадость какую-то, - ведь почти сутки спала и все равно сонная, как осенняя муха.

Но пока она спала, они отрезали ей волосы. Начисто, под корень.

Они отрезали ей волосы, и мать ее теперь просто убьет.

квартирный вопрос

Стас ей понравился сразу, очень. И тем, как они столкнулись - сначала руками над старым, еще темно-синим изданием Ле Гуин в "Книжном клубе" в ДК Крупской, а потом уже взглядами, сердитыми и смущенными одновременно. И тем, как потом сидели в какой-то странной кофейне, с пластиковыми столами и страшноватой витриной, в которой лежали эклеры, достойные "Метрополя". Первой темой, конечно, были книги, Ле Гуин он ей уступил, сказал, что еще найдет, что это скорее дань ностальгии и тому чувству, которое заставляет искать любимую книгу именно в том издании, в каком прочел ее впервые, а так-то, конечно, у него есть почти все, что было издано, и в оригиналах в том числе.

Последнее произвело на нее неизгладимое впечатление. Надя еще ни разу живьем не сталкивалась с человеком, который собирает Хайнский цикл Ле Гуин, в том числе в оригинале. Самой ей похвастаться было особенно нечем, "на Крупу" она ходила дуться. "Пойду подуюсь, как мышь на крупу", - заявляла она родителям субботним утром, брала строго оговоренную сумму денег и шла смотреть на книги. Нужно было продраться сквозь два-три нижних зала, где торговали новинками, и выйти на второй этаж - или летом во двор. И вот там уже созерцать жадно коленкоровые тусклые корешки, ставить их на воображаемые полки, брать в руки, вздыхать над каждой, как кум Тыква над своими кирпичами, а потом покупать что-то одно, на что хватит денег. А денег-то было - повышенная стипендия, кошкины слезы.

Он донес ей книги до подъезда, они обменялись телефонами. Она повздыхала, глядя на аккуратную визитку - три часа за разговорами о любимых авторах и ничего больше, спросил

только мельком, где именно она учится - ну конечно, библиотечный в Культуре, где еще может учиться страстный читатель, - и все. О себе сказал хорошо если два слова. И тут же снова перевел разговор на книги. "Обязательно найди "Принеси мне голову прекрасного принца", это похоже на Асприна, только лучше, потому что Шекли." - "А как тебе Асприн?" - "Ну, как тебе сказать. Первые три книги было очень любопытно. А потом я понял, что Ааз никого так и не убьет, а Скив так ни с кем и не переспит, несмотря на все посулы, и скоро станет скучно. С пятой книги это уже невозможно читать".

И все это - с абсолютно серьезным выражением лица, ровным, мягким голосом. Тем же ровным голосом на ее вопрос, чем он занимается, он ответил:

- Я главный бухгалтер в маленькой международной фирме. У нас прекрасная контора на Фонтанке. Я прихожу утром, вижу шефа, он говорит мне: "Хрю!" - и я ему в ответ: "Хрю!" Меня полностью устраивает.

Совершенно невозможно было понять, шутит он или нет, и это было самое замечательное. С тем же серьезным выражением лица он вместе с визиткой протянул ей открытку из стопки: "Возьми одну себе, я купил для коллег". Открытку она рассмотрела только дома. На фоне темного кабинета за конторкой сидел усталый человек с мухобойкой. Этой мухобойкой он отбивался от наседающих ангелов размером с голубя. Фотоколлаж был сделан очень тщательно.

- Для коллег, значит, - сказала она. - Может и не врет насчет "хрю!"

Она твердо решила сама не звонить. Выдержать характер. Перезвонит - хорошо. Нет - не судьба. Но Стас перезвонил через три дня. Сообщил, что у него свободный вечер, не хочет ли она пройтись. Пройтись они поехали на Васильевский и не заметили, как отмахали по набережной до самой Гавани. А потом обратно. А потом до Гавани еще раз.

Его эрудиция поражала. Еще больше поражали отглаженный костюм, белая рубашка и галстук в двадцатиградусную жару. "Стас, тебе не жарко?" - "Нет, что ты. Там, где я родился, очень жарко, так что здесь мне жарко не бывает". - "А где ты родился?"

И после хорошо выдержанной паузы: "В аду, конечно".

У него были узкие руки, близорукие глаза Хью Гранта и абсолютно невозмутимое выражение породистой физиономии. Он не позволил ей заплатить за себя ни в одном кафе. Он никогда не садился раньше нее. Он подавал руку на выходе из троллейбуса. К концу прогулки Надя была ошарашена, но еще не влюблена. Нет уж, позвольте. Общие интересы общими интересами, но она еще присмотрится. Если будет такая возможность.

К концу июля они исходили весь Питер, переговорили обо всем на свете, пересидели во всех заслуживающих внимания кафе. Надя летела на каждую встречу, как на крыльях, но каждый раз неизменно опаздывала, Стас же неизменно являлся вовремя. Он был точен, корректен и неизменно в хорошем настроении. Он звонил ей сам, вежливо спрашивал, есть ли у нее свободный вечер, и никогда не выказывал разочарования, если не было. Сама она звонила ему пару раз, однажды - сбежав с лекций в особенно хороший день. Но оба раза он отказался, серьезным тоном заявив: "Сегодня не могу. Мою холодильник." На день рождения он подарил ей такой букет роз, что когда она внесла его домой, мать поинтересовалась, когда ее уже будут знакомить наконец, а то ахнуть не успеешь, а уже внуки пошли.

Но в том-то и дело, что до внуков было как до луны. Они даже не поцеловались ни разу. О себе Стас по-прежнему говорил крайне мало, Надя постоянно ловила себя на мысли, что она наизусть знает список его любимых книг и фильмов (большую часть которого она увидела и прочла за лето впервые в жизни), но ничего не знает ни о его родне, ни о его друзьях, ни даже о том, где он живет. Она набиралась храбрости неделю, твердо решив напроситься в гости, когда их застал дождь у самой Петропавловки, и Стас сказал как ни в чем не бывало: я тут живу недалеко, пойдем тебя высушим.

Квартира оказалась огромной, с высоченными потолками и таким вычурным дизайном, будто на ней пробовал силы Гигер. Кухня будто вламывалась в старый дом гигантской стальной заплатой во всю стену, панели сияли хромом и множеством переплетенных трубок, холодильник был в человеческий рост высотой, со скругленными углами и экраном на дверце. Из складок

трубок лился синий свет. Варочная панель изгибалась и вспучивалась. Все вместе выглядело впечатляюще, но странновато.

- Это ты тут такое устроил? - изумленно спросила Надя.

- Нет, что ты, - ответил Стас. - Это не моя квартира, я ее просто снимаю. Чаю хочешь?

Надя хотела чаю, и Стас немедленно поставил на диковинную плиту чайник, достал с холодильника большой металлический поднос и принялся вынимать из шкафов рядом с плитой разносолы: хлеб, масло, ветчину, сыр, какой-то джем - все тщательно упакованное по контейнерам.

- Что, в холодильник уже не лезет? - поддразнила его Надя, подхватывая поднос.

- В холодильнике ничего нет, - ответил Стас. - Я никогда не храню там еду.

- Почему? Он не работает?

Лицо Стаса приобрело то характерное выражение небрежности, с которым он врал особенно вдохновенно.

- Я заключил договор с дьяволом, - сказал он. - Дьявол исполняет все мои желания, а я не храню пищу в холодильнике.

- Ну Стас!

Стас поморщился.

- Ох, да он просто с дефектом. В нем все очень быстро портится. Ты даже не представляешь, насколько портится. Тот единственный раз, когда я не углядел, мне пришлось отмывать всю кухню. А в шкафах - все в полной сохранности, ни разу ничего не прокисло.

Чайник закипел, они в четыре руки раскидали по чашкам заварочные пакеты, кипяток, собрали на поднос ложки, ножи и блюдца.

- Видишь ли, - говорил Стас, и лицо его снова приобретало мечтательно-безмятежное выражение, - я здесь за очень большой долг. Действительно очень большой. Мне его простили за то, что я буду жить с этим чудовищем. Хозяин квартиры за три улицы сюда не подходит.

- А почему нельзя выкинуть этот холодильник или просто запереть квартиру?

- Потому что его надо мыть раз в три дня. С хлоркой. Иначе в нем прорастает, просто из воздуха. А выкинуть его невозможно, он впаян в эту конструкцию. Они, по-моему, одно целое. Зато у меня - шикарная квартира в центре. Я организовал себе столовую в кабинете, и мне очень нравится. Идем, посмотришь.

Кабинет был забит книгами под самый потолок, и Надя тут же забыла про чудовищную кухню. В единственном шкафу без книг размещался многосоставный проигрыватель какой-то невероятной фирмы, Стас поставил Морриконе, звук был идеальным, чай с бутербродами - очень вкусным. Они сидели и болтали до вечера.

После первого визита словно сломался лед. Надя стала бывать в квартире на Кронверкской чуть ли трижды в неделю, прибегала болтать, читать, переписывать лекции, - а заодно помочь помыть пресловутый холодильник. Холодильник внутри оказался гораздо прозаичнее, чем снаружи - точно такой же холодильник, как сотни других, только с синей лампочкой, как и все кухонное освещение. Она привыкла с каждой чашкой и каждой плюшкой бегать в кабинет - откровенно говоря, ей это очень нравилось. Родители никогда не разрешали ей есть у себя в комнате (хотя бы потому, что младший брат немедленно потребовал бы того же), а больше всего на свете она любила жевать и читать одновременно.

Бабье лето выдалось на удивление теплым, можно было целыми вечерами бегать в босоножках и коротком рукаве, ходить по заливу на Петровской косе, кормить чаек на набережных и разговаривать практически одними цитатами. В воскресенье они договорились поехать в Петергоф, и в десять утра Надя уже звонила в высокую дверь на третьем этаже. Стас открыл ей, прижимая к уху мобильный и жестами загоняя в квартиру. Она так же молча просигналила: "кофе?" - он с энтузиазмом кивнул и ушел в кабинет, время от времени разражаясь короткой тирадой по-английски.

А Надя открыла холодильник и выложила из сумки на полку две порции эскимо. Не то чтобы Надя хотя бы на минуту забыла, что еду в этом доме в холодильнике не хранят, совсем нет. Но даже если решить, что Стас не шутил про быструю порчу продуктов - ну что может сделаться с

мороженным за десять минут? А вот в комнате оно как пить дать подтает, оно уже поплыло, пока она неслась в дом от "Горьковской". Представляя, как она сейчас выставит на стол в кабинете поднос с мороженным и кофе, Надежда разлила кофе по чашкам, достала плошки под мороженное и уже взялась за ручку холодильника.

- Стоять!

Стас в один прыжок оказался рядом и ребром ладони ударил ее по руке. Она взвизгнула и отскочила.

- Ты что, больно же!

- Ты туда что-то положила?

Близорукие глаза Хью Гранта смотрели на нее с обычной беспомощностью, но ни в тоне, ни в позе Стаса не было даже намека на растерянность. Он снял очки, аккуратно отложил их подальше и раздельно повторил:

- Что ты туда положила? Извини, что ударил. Но мне нужно знать. Там - еда?

- Мороженное, - сказала Надя с обидой.

- Давно?

- Пять минут.

- Ни к чему не прикасайся. Прошу тебя, ни к чему здесь не прикасайся. Отойди в угол и замри.

Если бы он на нее закричал или даже просто повысил голос, она не сдвинулась бы с места. Но он говорил очень тихо и очень мягко. Таким тоном уговаривают самоубийцу отойти от края крыши. И она отошла. Стас молча развернулся и исчез в коридоре. Вернулся он с длинным резиновым шлангом. Один конец он ловко насадил на кран над раковиной, второй наклонил над нею же и пустил горячую воду.

- Сейчас я направлю шланг на холодильник, - говорил он так же мягко, но уже громче, - а ты на счет "три" откроешь дверцу. И отпрыгнешь как можно дальше, хорошо? Нет, стоп, сначала принеси из ванной все тряпки, какие найдешь.

Надя метнулась в ванную комнату, открыла шкаф, пошвыряла в таз все флисовые половые тряпки - запас новых и старую, - и с тазом помчалась обратно в кухню. Из раковины уже валил пар.

- Кидай все под холодильник, - скомандовал Стас. - Теперь на счет "три". Раз, два… три!

Надежда рванула на себя дверцу и отскочила вбок. В нутро холодильника ударила струя горячей воды. За дверцей было не очень видно, что там такое, зато она услышала вой. И лязг и щелканье зубов, и удары по стенам. На тряпки, расползаясь сопливым комом слизи, вывалилось нечто мерзкое, красное, будто освежеванное мясо, с бесконечными рудиментарными отростками то ли хвостов, то ли лап - и десятком пастей на длинных гибких шеях. Эти пасти неистово лязгали, стараясь ухватить хоть что-нибудь, но под струей горячей воды расплывались, как масло на сковороде, теряли форму и превращались в слизь.

Минуту спустя все было кончено. Стас выключил воду. Они стояли посреди изгаженной кухни, мокрые, красные, взъерошенные - и переводили дух.

- Ну, - сказала наконец Надя, чувствуя, как нервная улыбка растекается по лицу, а где-то в глубине живота рождается смех, - я думаю, *это может стать началом прекрасной дружбы.*

доступные формы протеста

Каждую неделю у Орлуши было по два часа дороги туда и обратно. Сначала в пятницу - из детского сада, потом в воскресенье - в детский сад. Пешком до станции, час на электричке, потом еще час на автобусе. В воскресенье болтать не хотелось, хотелось прижаться к маминому зеленому пальто и замереть, чтобы ехать долго-долго и никуда не приехать. Зато в пятницу Орлуша вываливала разом все свои новости и приключения.

И то, как играли в Диану-охотницу и все стрелы улетели на сарай. И то, как меняли воду в аквариумах, отсаживали рыб, заливали свежую, запускали рыбок снова. И то, как ходили на лыжах в лес, и с горки было ехать здорово, а в горку - еле забраться.

Но в эту пятницу мама слушала рассеянно и только кивала, а потом сообщила:

- В субботу поедем покупать диван и новый шкаф в твою комнату. Приезжает твоя бабушка.

- Которая из Нальчика? - уточнила Орлуша. Вообще-то никакой другой бабушки у нее не было, только папина мама, и ту она видела два раза в жизни - когда бабушка приезжала в Ленинград еще на старую квартиру, и когда Орлуша с папой ездили в Нальчик, к морю. Бабушка была совсем не похожа на бабушку: молодая, красивая, стройная. Только Орлуша не помнила, как ее зовут, и теперь ей было неловко в этом признаться.

- Да, твоя бабушка Вера, - мрачно подтвердила мать. - Все-таки приезжает.

- Но ведь это хорошо, да? - осторожно спросила Лида.

- Куда уж лучше, - ответила мать. - Нравится ей наша квартира.

- Мне она тоже нравится, - заметила Лида. - Хорошая квартира! Трехкомнатная, с лоджией, и парк рядом, - добавила она, чтобы порадовать маму, мама любила, когда дочь рассуждала как взрослая, сразу начинала хохотать и передразнивать. Но в этот раз старый трюк не сработал.

- Вот именно, трехкомнатная с лоджией, да еще и кооператив, да еще и в Питере, - желчно повторила она. Лида здорово трусила, когда мать начинала говорить таким тоном, холодным и презрительным, становилась как Снежная королева. В таких случаях лучше было промолчать и выждать смены настроения, поэтому когда мама добавила: - Она уже и невесту твоему папе присмотрела, ловкая такая у тебя бабушка, - Орлуша не стала ничего говорить, тем более, что ничего не поняла. Какая невеста? Папа женат на маме. А жениться два раза невозможно, это всем известно. Для этого надо сначала маму отправить в монастырь, а она ни за что не отправится.

- Хорошо, что ты в этом садике, - сказал мать. - Я думала, может, на полгода удастся тебя перевести поближе, но у них совсем нет мест, а тут еще Вера Степановна приезжает. Незачем тебе на все это смотреть.

До двух лет Орлушу звали Лидой. В два года она перепутала день с ночью - днем спала, ночью гуляла. Врачи сказали "пройдет, дежурьте по очереди". Ночью Лида требовала поесть, погулять, поиграть - все, что требуют девочки двух лет, когда не спят, - и папа со смехом приговаривал: "Орлуша-орлуша, какая ж ты стерва", - и гулял, кормил и играл. Орлуша потом спросила, что это значит, ей ответили, что это цитата из очень веселой и хорошей книжки, но для взрослых, и что она ее обязательно прочтет, когда вырастет.

А котенка звали Матильдой с самого начала - в честь вальяжной кошки из мультфильма про Карлсона.

Она ввалилась в квартиру круглым пуховым комком на ножках, просидела полдня под обувной стойкой, а к вечеру вышла и принялась обнюхивать все доступные поверхности.

То есть Орлуша не видела, как это было, а ведь так хотелось посмотреть, как котенок входит в дом в первый раз. Но представляла себе все очень хорошо: вот дымчатая шкурка, покачиваясь, двигается вдоль стены, вот она выходит на кухню и нюхает свое блюдечко под раковиной. Вот мама настойчиво сажает ее в ящик с песком, пока котенок наконец не пускает крошечную струйку.

Орлуша не видела этого всего потому, что котенка принесли во вторник, а она приехала домой только вечером пятницы.

Орлуше, в общем, было неплохо и на старой квартире, в коммуналке на первом этаже, за огромной, двустворчатой входной дверью. В еще одной комнате жила соседка, но у нее Орлуша была всего раз - мать примчалась, вывела ее в коридор, многословно извиняясь за надоедливого ребенка. Орлуша вовсе никому не надоедала, соседка сама ее позвала, и у нее было так интересно: комната была полна незнакомых и ярких вещей. На большом трельяже громоздились баночки, коробочки, шкатулки, стеклянные флаконы с шелковыми кистями на колпачках, писаная красота, глаз не отвести. (Так во всех сказках говорилось о чем-то очень красивом - писаная красота, глаз не отвести. Что означало "писаная", Орлуша не знала, и для себя решила, что это значит "так

красиво, что даже в книжках об этом пишут".) И запах. Запах над всеми этими сокровищами стоял сказочный: густой, незнакомый, немного пугающий, его хотелось вдыхать еще и еще.

- Лидия, запомни: никогда не смей к ней ходить, - сказала мать самым строгим тоном. Орлуша даже не знала, как зовут соседку, мама всегда называла ее исключительно "она".

- Но почему? - спросила Орлуша, в комнате было так интересно, она не навязывалась, ее позвали, дали шоколадную конфету и даже обещали напоить чаем.

- Нечего тебе торчать у этой мещанки, - отрезала мать и поджала губы.

Когда мама поджимала губы, продолжать разговор было бесполезно, хотя Орлуша очень хотела знать, кто такая мещанка. Слово было какое-то пищащее, непонятное и явно нехорошее. Но с поджатыми губами не поспоришь. А уж с поджатыми губами и собственным "взрослым" именем спорить было даже опасно.

На все лето Орлуша уехала со старым садиком в пригород на залив, а когда вернулась, мама повезла ее сразу в новую квартиру, с новой мебелью, с отдельной кухней - и отдельной комнатой для нее, Орлуши.

В комнате было все новое: кровать и письменный стол, большой стеллаж от пола до потолка, большой, пахнущий магазином, ковер за кроватью. Вот на этот-то ковер и забралась с разбегу Матильда, едва оказавшись в детской.

Орлуша даже завизжала от восторга. Надо же, какая ловкая, забралась на самый верх! А как она неслась вдоль всего коридора за маленьким мячиком из фольги! А как уютно сворачивалась в ногах, когда гасили свет и расходились по комнатам. Матильда дожидалась, когда в квартире станет совсем тихо, приоткрывала дверь в детскую и мягко вскакивала на кровать.

Вообще-то на кровать Мотьке было нельзя. Ей и в комнаты ночью было нельзя, но у Орлуши просто сердце разрывалось от жалости (это она где-то вычитала, "у нее сердце разрывалось от жалости"): ночью, одна, в темном холодном коридоре, где лечь можно только на коврик у двери. В детском саду так наказывали тех, кто никак не мог уснуть вечером - ставили в темный коридор в одной пижаме и тапочках. Поэтому на ночь Орлуша впускала Матильду, а утром, до того, как все проснутся, тихонько выпроваживала в коридор. Однажды мама их все-таки застукала и обеим влетело. После этого приходилось выдумывать, что Матильда научилась отпирать двери лапой. Или что дверь сама открылась. Или еще что-нибудь.

- Ох и врушка ты, Лидка, - говорила на это мать. - Ну как так можно, кошку в постель, она же лапами ходит по полу, и по тому песку, в который писает. Это же отвратительно.

Лида не видела, что тут такого отвратительного, но с мамой старалась не спорить. Когда она спорила, мама сердилась, а когда мама сердилась, не было ни чтения вечером, ни поездок в центр.

Ради поездок в центр стоило потерпеть, теперь они и так случались очень редко. А раньше каждые выходные выбирались все вместе или только с мамой - то на Елагин остров, собирать желуди осенью и кататься на финских санках зимой, то в Эрмитаж или в Русский музей, или в Зоологический. А потом, если у мамы было хорошее настроение (а когда Орлуша не путала Дворцовую площадь со Стрелкой Васильевского острова или без запинки перечисляла всех богов и героев в статуях Летнего сада, у мамы было очень хорошее настроение), можно было даже поесть мороженного в кафе на Невском.

Бабушка внучке очень обрадовалась, все повторяла, какая она выросла умница и красавица, взялась вынимать подарки, среди них - большую яркую книжку со сказками для самых маленьких - колобок, теремок, лиса и петух. Лида вежливо поблагодарила и оглянулась на мать - что, мол, мне с этим делать?

- Спасибо, Вера Степановна, но она такое уже давно не читает, - сказала мама, как показалось Орлуше - с гордостью.

- А что ты читаешь, деточка? - спросила бабушка, обращаясь к Лиде, а не к маме.

- Сейчас - "Джельсомино в Стране лгунов", - честно сказала Орлуша, соскочила с тахты и принесла огромный том, размером с энциклопедию, только в два раза толще. В нем были собраны лучшие на свете сказки и истории писателей всего мира. - А на прошлой неделе - "Путешествие Голубой стрелы" вот отсюда.

Бабушка посмотрела на книгу, на довольно мелкий шрифт и яркие картинки, а потом прочла:

- "Книга для внеклассного чтения для третьего и четвертого классов". Нина. Тебе не кажется, что ребенку шести лет такое рано?

- Нет, не кажется, - отрезала мама, и Орлуша тоже подала голос:

- И мне не кажется! - но была немедленно отправлена спать.

Этой ночью бабушка спала у нее в комнате на диване у окна, и Матильда напрасно скреблась под дверью: Орлуша побоялась ее впустить.

За шкафом в итоге поехали папа и мама, а Орлуша осталась с бабушкой на весь день. Бабушка не хотела ни читать, ни рисовать, ни играть в игру, в которой надо было вынимать карточки с картинками дворцов и соборов Ленинграда и раскладывать по большой карте - каждую картинку на свое место.

Вместо этого бабушка раз за разом заваривала чай и спрашивала странные вещи:

- Лидочка, а ты хотела бы жить у моря?

Или:

- А ты кого больше любишь, маму или папу?

Лида рассеянно играла "бантиком" с Мотькой и отвечала что-то невнятное. Что на такое ответишь? Она ведь и так живет у моря. А выбирать между мамой и папой - совсем глупо. Она обоих любит. Хотя папу иногда боится. Очень редко папа напивается - и делается таким страшным, что хочется бежать из дому. Но такое было всего два или три раза, на старой квартире, и Орлуша всегда пряталась на кухне. Но не рассказывать же об этом бабушке?

Вечером, когда шкаф был собран и поставлен, Орлушу загнали спать, но она весь день просидела дома и спать ей не хотелось. Тем более, что на кухне говорили все громче. Лида приоткрыла дверь и прислушалась.

- Засушила ты девчонку, Нина. У нее диана какая-то в голове, геркулес какой-то. А что это - она и сама не знает. Я ее спрашиваю - ты о каше говоришь? А она на меня смотрит, как баран на новые ворота, и не понимает ничего. Ее бы на море свозить, чтобы она хоть плавать научилась.

- Вера Степановна. Что лучше для моей дочери, я решу сама.

- Воля твоя, Нина, но вырастишь ты старую деву, сухаря в очках.

- Я лучше выращу старую деву, чем от меня сбежит один ребенок и будет тихо спиваться второй, - мама чуть ли не зашипела на бабушку, так разозлилась на "сухаря в очках". Лида и сама злится, с чего это ей быть сухарем в очках, у нее отличное зрение, а с кухни доносится уже в голос: "Не смей со мной так разговаривать!"

В гостиной послышалась возня и Лида быстро прикрыла дверь. На кухню прошел отец, сказал весело: "Так, дорогие дамы, брек! Нинуш, давай спать уже..." А минут через десять в темноте и тишине пришла укладываться бабушка и долго возилась, почему-то не зажигая верхний свет. Лида поспешно притворилась, что спит. Матильда, давно проскользнувшая в детскую под всеобщий шум, свернулась у нее под боком, Лида притиснула кошку поближе к себе и наконец заснула.

На следующей неделе мама приехала в садик позже всех, обнаружила, что Лида потеряла одну варежку из пары и почему-то ужасно рассердилась. До станции они шли молча. Сев в поезд, Орлуша принялась пересказывать свои новости, мать молча смотрела на нее, а потом вдруг сказала своим особенным тоном Снежной королевы:

- До чего ж ты бессердечная девочка. Все как с гуся вода. Нормальный ребенок со стыда бы сгорел, а ты уже через десять минут ничего не помнишь. Как Матильда просто - отшлепаешь ее, а через полчаса она уже скачет, как ни в чем не бывало.

- А за что ты отшлепала Мотьку? - тихо спросила Лида.

- Неважно, - ответила мама и отвернулась.

Всю дорогу до дома они промолчали, приехали очень поздно, Орлуша даже не заметила, как заснула.

А с утра все повторилось, как на прошлой неделе: мама и бабушка ссорились на кухне, Лида отсиживалась в своей комнате, Матильда пряталась в коридоре. Под вечер появился папа, накричал на всех, а в воскресенье ушел рано с утра, Орлуша его толком и не видела.

Так пошла одна тоскливая неделя за другой, в пятницу Орлуша не могла дождаться, когда поедет домой, а в воскресенье уже не могла дождаться, когда вернется в садик. В доме теперь слышался только голос бабушки, отец уходил на целые дни, мать отмалчивалась: поджимала губы, молча готовила, молча мыла посуду. Лида старалась попадаться взрослым на глаза как можно реже, перечитала все книжки и изрисовала все альбомы.

Зима заканчивалась, на восьмое марта Орлуша нарисовала маме картинку с мимозой из покрашенных желтой гуашью ватных шариков - они целых два дня делали эти открытки всей группой. И повезло: пятница выдалась солнечная, мама приехала в хорошем настроении, обрадовалась открытке и даже обняла Орлушу, когда они устроились на деревянной скамейке в электричке. Орлуша как раз рассказывала о новой воспитательнице, очень строгой. Если кто-то в чем-то провинился, она ставит перед всеми и долго отчитывает, и оправдываться бесполезно, она ничего не слушает.

- Так бывает, Лидк, - сказала мама. - Бывает, что в жизни появляется человек, скажем так, не очень умный. Просто не обращай на нее внимания. Сделай вид, что ее нет.

- Как же мне делать вид, что ее нет? Я кашу не доела, она меня поставила посреди игровой и как начнет… А я не могу есть эту кашу, у нее пенки противные, как сопли, только еще хуже!

- Не ешь. А если на тебя кричат, смотри мимо и повторяй про себя "передо мной табуретка, передо мной табуретка". Тебя оставят в покое, а ты потом все равно сделаешь по-своему.

Дома Лиду ждало два сюрприза: Веру Степановну положили в больницу на неделю, "ничего страшного, просто обследование", пояснила мама. А еще - отдали Матильду.

- Как отдали? - не поняла Лида. - Почему?

- Я встретила во дворе очень милую бабушку, - сказала мама. - Она живет совсем одна, у нее никого нет. И я отдала ей Мотьку.

- Как же так, - пробормотала Лида. - Как же ты отдала ей нашу кошку? Это же была наша кошка. Это была моя кошка.

- У тебя будет еще. А у этой бабушки Мотька, может быть, последний свет в окошке. Кстати, Орлид, что-то мы с тобой давно ничего не читали. Неси-ка сюда "Хозяйку Медной горы".

Забыв обо всем, Орлуша побежала за книжкой, а в воскресенье мама повезла ее с утра в Петергоф. Фонтаны еще не работали, но день был солнечный, на аллеях лежали синие тени от деревьев, купола дворцовой церкви и скульптура Самсона сияли золотом сквозь черные стволы, и Орлуша не вспомнила о Мотьке до самого вечера. Ночью, лежа в кровати в большой общей спальне, она смотрела на светлые прямоугольники на стенах - свет от фонарей бил прямо в окна, и думала о том, что, может быть, и правда Матильде будет лучше у этой бабушки. В конце-концов, у Орлуши есть мама, папа и даже бабушка Вера, а каково это - жить совсем одной? Она твердо решила уговорить маму сходить к неизвестной бабушке в гости, и на этом заснула.

Но на следующих выходных было не до гостей. Мама и папа выглядели так, как будто у них кто-то умер. Бабушку оставили в больнице. У нее нашли какой-то непонятный "рак", каким образом рак с клешнями может жить в теле человека, Орлуша не могла себе представить. В субботу все вместе ездили в больницу, и бабушка совсем не выглядела больной, у нее не было температуры и даже не болело ничего, ни горло, ни уши. В больнице ужасно пахло и было очень душно. Зато бабушка больше не ссорилась с мамой.

На лето Лида снова уехала и вернулась только к первому сентября. Мама записала ее в первый "гэ" класс той школы, которую было видно из окон их квартиры.

В школе было интересно. Читать Лида умела отлично, зато писать - не очень, особенно так, как требовалось в школе - с наклоном, в прописи. Вечером она старательно выводила палочку за палочкой, училась писать так и эдак, с наклоном и без. Уроков было немного, на продленке можно было во время прогулки удрать с мальчишками к огромным штабелям бетонных плит, оставшихся от стройки, и поиграть в полярников - плиты были очень похожи на айсберги.

В школе у Лиды появилась подружка, Машка, к ней Лида иногда уходила вместо продленки. Машка жила в соседнем доме, через улицу, квартиры в этих домах были коммунальными, и Лида совершенно не могла понять, как две семьи разворачиваются в крошечной кухне. Зато в квартире

у Машки в гостиной стоял круглый обеденный стол, за которым можно было делать уроки прямо перед телевизором, а на диване вечно валялся кверху пузом белый пуховый шпиц Цитра.

Почему такое странное имя, спросила Лида, и Машка рассказала удивительные вещи. Оказывается, породистых собак называли не просто так, а непременно на конкретную букву, у них был паспорт, они состояли в клубе и были специальные люди, которые следили за чистотой породы.

О собаках Машка знала все. Чем служебные породы отличаются от декоративных, как выбрать щенка, чем кормить, как воспитать - у нее была куча книг по собаководству. Сейчас все хотят завести себе колли, из-за сериала "Лесси", который крутят по телеку, важно говорила Машка, только я-то все равно хочу немецкую овчарку, лучше их никого нет. Лида соглашалась с тем, что да, лучше немецких овчарок нет никого, но стоило ей представить, как она идет по улице рядом с рыже-белым пушистым облаком, с самой умной и прекрасной собакой на свете, которую она, конечно же, назовет Лесси, - как у нее звенело в ушах от счастья. Щенок колли, даже без родословной, стоил не меньше шестидесяти рублей, и Лида решила, что если накопит хотя бы десять, уговорить родителей будет проще, десять рублей - серьезное вложение. Экономия на школьных обедах давала примерно рубль в неделю, Лида завела жестяную коробку с монетами и бумажками и вечерами пересчитывала свои сокровища.

Домой Лида приходила, когда уже темнело. Ужинать все собирались очень поздно и наспех, и у Лиды появилась привычка сразу со школы хватать что-то из холодильника. Мама готовила только в выходные и так, чтобы всю неделю можно было быстро разогреть и поесть. Папа ворчал, что мужчина не может наесться крохотным куском курицы, которая еще и умерла своей смертью, поэтому в холодильнике всегда имелась колбаса специально для него, и от нее можно было отхватить кружок, лишь бы было не очень заметно. Мама бранилась: "Опять ты кусочничаешь, есть не будешь", - но Лида ела все, что давали, и все равно все время хотела есть.

Бабушке стало хуже, родители начали возвращаться еще позднее, чем заканчивалась продленка, и Лиде дали ключи. Мама крепко пришила резинку в портфель, второй конец резинки пришила к кольцу с ключами. Встав на цыпочки, прижав портфель животом к двери, можно было дотянуть ключ до замочной скважины, это было ужасно глупо и неудобно, и Лида стеснялась водить к себе подруг. Но резинку подлиннее мама не разрешила.

- Вот и хорошо, - сказал она. - Поменьше твои девицы здесь торчать будут. Нечего их сюда водить. Глупые, недалекие девочки.

Лида сражалась с ключом, пыхтела, чуть не плакала. Но все-таки возвращаться домой или бросить портфель, переодеться, а потом бежать в гости к Машке было гораздо, гораздо лучше, чем продленка.

В декабре бабушка умерла и папа на десять дней уехал на похороны в Нальчик. Мама с Лидой купили елку, поставили в гостиной и целый вечер развешивали стеклянные шары, сосульки и колокольчики. Мама положила под нижние лапы две ярких коробки, обернутые цветной папиросной бумагой, Лида принесла свои, не так красиво упакованные (открытка для мамы, сделанная из кусочков бумаги и фольги, как мозаика, и тряпичный петух-перочистка для папа, ему на защиту диссертации подарили ручку с настоящим золотым пером), но их тоже положили рядом с дедом-морозом из папье-маше.

Лида глубоко вздохнула и сказала как бы между прочим:

- Но больше всего мне бы хотелось собаку.

- Вот только собаки нам не хватало, - заметила мама. Потом посмотрела на дочь и добавила: - Увидим. Закончишь третью четверть на отлично - я подумаю.

За день до Нового года вернулся папа, вечером тридцать первого все вместе сели за стол, и Лиде даже налили чуть-чуть шампанского. А потом папа напился, Лиду отправили спать, но она еще долго слышала, как папа страшно кричит на маму на кухне. Лида лежала, завернувшись в одеяло с головой, и думала о том, как она будет гулять со своим чудесным щенком.

Третья четверть была закончена с одной четверкой, но когда Лида напомнила о разговоре под Новый год, мама сказала, что она решительно против колли.

- Ты представляешь, сколько с нее будет шерсти? - строго спросила она. - Мало тебе рыбок?

Лида не стала объяснять, что нельзя сравнивать рыбок и колли, зато принесла стопку прочитанных книг. Там было очень убедительно написано, что если регулярно вычесывать колли, то никакой шерсти в доме не будет.

- И кто ее будет вычесывать? - поинтересовалась мать. - Ты, что ли?

Лида готова была вычесывать, кормить, гулять и дрессировать, лишь бы мама согласилась. Она даже попробовала перетянуть на свою сторону папу, - когда сумела поймать его в субботу дома. Папа теперь каждый день работал допоздна, у него были важные дела в лаборатории, а по выходным он часто дежурил по институту, поэтому застать его дома было не так-то просто.

Папа был совсем не против собаки. Лида рассказала о бракованных щенках, и папа сказал: "Неси, там разберемся." Конец разговора услышала мама, выставила Лиду из кухни, и Лида поймала только начало первой фразы: "А ты в курсе, что овчарки не переносят пьяных? И что будет, когда ты в очередной раз…" - дальше можно было не слушать.

Решив, что их с отцом усилий хватит, чтобы уговорить маму, Лида продолжала упрямо копить. В коробке было уже почти девять рублей, когда мама пришла домой не одна. За ней, упираясь и явно не горя желанием идти в квартиру, маячил большущий пес, серо-седой, с бородатой, как у эрдельтерьера, мордой и такими же надломленными ушами "домиком". Морда у него была хитрая и заискивающая одновременно.

- Это Триша, - сказала мама. - Трифон, потому что бородатый. Я подобрала его на стройке, он будет жить у нас, его там рабочие гоняют, того гляди - прибьют.

Лида смотрела на Тришу. Пес топтался в дверях и принюхивался, не решаясь войти. Из кухни вышел папа и тоже уставился на дворнягу.

- Ну что? - сказала мама с досадой. - Вы же оба хотели собаку!

- Я хотела колли, - сказала Лида. - И я хотела щенка. Чтобы воспитать его самой.

- Триша и есть щенок! - горячо возразила мама. - И ему дом нужнее, чем породистому щенку. Если мы его не возьмем, он замерзнет на улице!

- Да ему на улице самое место, - усмехнулся отец. - Какой он щенок, у него вся морда седая и вся спина. Зачем ты его приволокла? Он уличный. Он никогда не приживется.

- Он - щенок, - твердо сказала мать. - Не хотите им заниматься - я сама буду с ним гулять. Вы хотели собаку, я привела вам собаку. А как дошло до дела, вы оба сразу в кусты. Я так и знала.

- Я хотела щенка, - повторила Лида, чуть не плача. Было совершенно понятно, что теперь никакого щенка ей никогда не будет, даже если она накопит сама все эти треклятые шестьдесят рублей. Вторую собаку в дом не возьмут, а бездомного пса девать некуда, только на улицу обратно выкидывать.

- Вы отлично подружитесь, - сказала мать, - вот увидишь.

Она протянула руку, чтобы погладить Тришу по голове, но тот испуганно отшатнулся. Папа хмыкнул и вернулся на кухню.

Дружба с Тришей измерялась колбасой. Он довольно быстро сообразил, что если удрать на несколько часов, а потом вернуться, тебя снова возьмут в дом и накормят, разве что на следующей прогулке не спустят с поводка, но тогда надо несколько дней вести себя примерно: подходить, когда зовут, аккуратно брать колбасу, выполнять команду "сидеть" и "гулять", - а потом снова удрать. Лида расстраивалась, еще больше расстраивалась мама, от которой умный пес точно так же удирал, когда ему этого хотелось. Но именно у мамы он потом умильно выпрашивал прощения, вставая на задние лапы и поскуливая, как будто хорошо понимал, что именно от нее зависит, пустят его снова в дом или нет.

Иногда он удирал на сутки, а когда возвращался, от него пахло так, будто он нашел общественный собачий туалет и как следует в нем вывалялся. Мама с Лидой отмывали его в ванне пихтовым шампунем, пока запах не исчезал, и неделю после этого пес вел себя идеально. А потом снова удирал и снова вымазывался. Лида теперь старалась поменьше к нему подходить, ей все время казалось, что от собаки все-таки пахнет. Она вообще старалась бывать дома поменьше.

- А как его зовут? – спросила Машка, запихивая в портфель возвращенные книги по собаководству. В гостях у Лиды она бывала редко, и с Трифоном до сих пор не встречалась.

- Это Трифон, - сказала Лида. – Триша. Пойдем, Триш, проводим Машу, - и Лида тряхнула ошейником с поводком. Обычно на этот звук пес вскакивал и бежал к двери. Но в этот раз ему, видимо, не хотелось гулять.

- Не больно-то он тебя слушается, - сказала Машка, прищурившись. – Никуда он не пойдет.

- Пойдет, - сказала Лида и присела на корточки, чтобы застегнуть ошейник. Пес зарычал.

- Триша, ну пожалуйста! - крикнула Лида, и тут Триша кинулся прямо ей в лицо.

Лида выпустила из рук собачью сбрую и схватилась за щеку. Машка подскочила и быстро дернула подругу на себя, оттаскивая от собаки. Триша вжался в свой коврик, глядя на девочек снизу вверх, так что в темноте коридора были видны только его зубы и белки глаз. Подруги выскочили за дверь. Машка отняла лидину ладонь от лица:

- Покажи. Ого. Здорово. Как бы шрамов не осталось. У вас перекись есть? Нет? Идем ко мне. Это обязательно надо промыть. Хорошо еще, если уколы от бешенства делать не станут. Знаешь, как больно? Прямо в живот!

Лида дрожащими руками заперла квартиру и, рыдая, поплелась за Машкой. У Машки оказался дома папа, врач-педиатр, он живо обработал ранки, заставил Лиду выпить ложку какой-то остро пахнущей настойки, дал запить. Лида всхлипывала. Не столько от боли - больно не было совсем, - сколько от обиды. Меньше всего она ожидала, что на нее бросится ее собственная собака.

Дома, конечно же, пришлось все рассказать. На скуле отчетливо были видны две отметины от клыков, да и лицо у Лиды было красное и зареванное. "Как же так", - растерянно сказала мама, но тут папа внезапно хлопнул ладонями по кухонному столу.

- Хватит с меня. Этой собаки в моем доме больше не будет. Еще не хватало, чтобы всякая уличная шавка кусала мою дочь.

- Андрей, что ты такое говоришь, куда я его выгоню? Это случайность, Лида сама виновата… - начала было мать, но отец резко оборвал ее:

- Никаких "выгоню". В эту же субботу отвезу его в клинику.

- Зачем - в клинику? - всхлипнула Лида. - Папа, не надо!

- Иди спать, - сказала мать очень спокойным тоном, ухватила Лиду за руку, отвела в комнату и закрыла дверь.

Лида зарылась лицом в подушку и ревела, ревела и ревела, сначала под крики в кухне, потом под хлопок двери, потом под абсолютную тишину, ревела до тех пор, пока не заснула от собственных слез.

Из клиники папа вернулся очень довольный.

- Пристроил я твоего пса, Нинуш. Пока стоял в очереди, разговорился с одним мужиком. Во, говорит, мне такая собака и нужна, дачу охранять, чтобы злющая была. Я и отдал. Вместе с ошейником и намордником.

Лида очень хотела расспросить, что это за мужик и где у него дача, но мама молча развернулась и ушла в комнату, и Лида с папой ужинали только вдвоем.

Еще неделю мать ни с кем не разговаривала. Иногда отвечала односложно. Но чаще бросала: "Делай, что хочешь", - и нужно было угадать, чего именно не следует делать. Иногда Лида угадывала, а иногда - нет, и тогда становилось еще хуже. В воскресенье, когда все позавтракали - отец сразу ушел, сказал только, что вернется к вечеру, - Лида взялась прибирать со стола и включила маленький кухонный телевизор, там как раз заканчивалась программа"Ребятам о зверятах", после нее должны были быть мультфильмы. По студии прыгали три больших пуделя, подстриженных под артемона, а их хозяйка рассказывала об этой породе, о том, какая пудель неприхотливая и веселая собака.

- Убери, видеть не могу, - сказала мать, и Лида поспешно выключила телевизор.

Она уже домыла посуду, а мама все так же сидела в углу кухни, грея руки о чашку с чаем.

- Мам, - сказала Лида и, не дождавшись реакции, попробовала зайти сбоку: - Ну, может, не так все и плохо? Скоро лето, ему знаешь, как будет на даче здорово. Еще лучше, чем в городе.

Мать вдруг посмотрела прямо на нее, со странным выражением на лице.

- Все-таки ты у меня совсем дурочка, - сказала она почти весело. - Ты что, правда думаешь, что твой отец его отдал кому-то? Он соврал, чтобы меня не расстраивать. Триша никому не был

нужен, кроме меня. Никому. Конечно же, его усыпили. Никто не будет возиться с якобы агрессивной собакой.

Лида закрыла воду.

- А Мотька? - спросила она севшим голосом.

- Что - Мотька?

- Мотьку вы тоже усыпили, а мне соврали, чтобы меня не расстраивать?

- Что ты несешь, - сказала мать сухо. - Зачем нам было тебе врать. Матильду я отдала бабушке из седьмого подъезда. Развесила объявления, она и пришла. Ну что ты на меня уставилась? Твоя Матильда начала метить. Писала прямо на коврик в коридоре. И на диван в твоей комнате тоже. Но никто твою Мотьку не усыплял.

Лида помолчала, а потом, глядя в окно, очень тихо заметила:

- В книжке Рябинина написано, что если здоровое животное писается в доме, это просто что-то не в порядке. Что кошка или собака так выражают протест, потому что это единственная доступная для них форма.

Мать даже рассмеялась.

- Алиса, - сказала она, - никогда не повторяй слова только за то, что они красивые и длинные!

Это была цитата с любимой пластинки, двойной альбом, "Алиса в Стране чудес" с песнями Высоцкого. Мама вообще любила разговаривать цитатами. Лида то и дело слышала "Топтун, если не можешь сказать ничего хорошего, лучше помолчи", - из "Бэмби" Диснея. Или "Когда б свое поднять могла ты кверху рыло!" - когда Лида не могла найти какую-то вещь, а мать видела, где та лежит. Цитата всегда означала, что спор окончен, никакие аргументы больше не принимаются. Лида пожала плечами и взялась домывать посуду.

А вечером, погасив свет, долго смотрела, как по потолку перемещаются прямоугольники окон - внизу во дворе проезжала машина, и свет фар ложился на потолок, а потом скользил от правой стены до левой. Свет проходил по потолку, а Лида повторяла про себя - доступные формы протеста. Раз за разом, не вдумываясь в смысл. Они скользили в голове, как свет по потолку, каждого прохода как раз хватало, чтобы произнести про себя: доступные формы протеста, справа налево.

В школе началась эпидемия гриппа. Когда от класса осталось пять человек, его объединили с классами "а" и "бэ", но все равно уроков было очень мало, занятия заканчивались в двенадцать дня. Лида просидела дома один день, другой, а потом взяла рубль из своей копилки и поехала в центр города, на Стрелку Васильевского острова, где была мамина работа. Сначала думала, что зайдет к маме в институт, но потом проехала на одну остановку дальше и пошла в Эрмитаж. Она не была там больше трех лет, еще со старой квартиры, и почти ничего не помнила. Но на первом этаже ее встретили старые знакомые - греческие боги и герои, а на втором - Малахитовый зал из "Хозяйки Медной горы", а ведь был еще Павильонный зал с часами "Павлин", и белая Посольская лестница с золочеными светильниками и капителями черных колонн, и бесконечные ярко-алые залы с картинами.

Следующая неделя была самой замечательной школьной неделей в ее жизни. После одного или двух уроков Лида бросала дома портфель и уезжала в город бродить по музеям. Зоологический она и так неплохо знала. Эрмитаж был выхожен вдоль и поперек. А совсем рядом с маминой работой обнаружился еще один музей, за вход в который платить не надо было вовсе. За огромными дверьми с улицы был виден вестибюль с широкой дворцовой лестницей, а у лестницы - двое невообразимых чудовищ в полтора человеческих роста каждое. Из чудовищ торчали рога и бивни, их спины покрывали тигровые шкуры. Лида не могла пройти мимо. И впервые в жизни оказалась в Кунст-камере.

Это оказалось в тысячу раз лучше Эрмитажа. Здесь как будто кто-то нарочно собрал персонажей всех сказок на свете. У непонятных витрин она останавливалась и дожидалась экскурсии. Все экскурсоводы рассказывали разное, так что слушать можно было бесконечно. Здесь были самураи, индейцы Северной и Южной Америк, африканские вожди в плащах из алых перьев, японские принцессы в кимоно, китайские резные шары - один в другом, все вместе - в пагоде из слоновой кости. Здесь были вышивки из надкрыльев майских жуков, яванский театр

теней, японские расписные ширмы. Лида шла из зала в зал как сквозь сказку. Дома она ничего не рассказывала о своих приключениях.

Через неделю грипп закончился, но после уроков Лида, неожиданно для себя, все так же ехала на Стрелку Васильевского острова. Сдавала портфель и пальто в гардероб и бродила по залам до пяти вечера, а без четверти шесть уже была дома.

Однажды ей удалось "прицепиться" к экскурсии, которая шла на самый верх, в башню Ломоносова. Там были его приборы, смальтовые мозаики, письма и книги, множество глобусов. И еще одна лестница поднималась на этаж выше, к обсерватории.

- Ну что, хочешь посмотреть, что там? - спросила ее смотрительница, когда группа уходила. - Я тебя часто вижу в музее. Хочешь посмотреть, какие там чудеса? Ага. Приходи завтра к десяти. Я договорюсь, нас пустят. Покажу тебе его двойной глобус. Сможешь?

На следующий день Лида вовсе не пошла в школу.

Глобус был огромный. В нем можно было выпрямиться во весь рост. Снаружи на нем были континенты и моря Земли, а внутри - сфера звездного неба. Из созвездий она знала только Большую медведицу и Кассиопею, зато их нашла мгновенно, вызвав умиление у обеих смотрительниц - и у той, что была в зале с глобусом, и у знакомой, которая ее привела наверх. За это ее отвели в зал, который только готовился к открытию: экспозиция первобытного мира. "Борьба за огонь" к тому времени была зачитана Лидой до дыр, она ходила от витрины к витрине, онемев от счастья.

Вечером, делая вид, что готовит уроки, она долго думала, как скрыть сегодняшний прогул. И в конце концов написала "взрослым" почерком записку якобы от мамы, что та возила ребенка на редкую экскурсию, все с ее ведома и под контролем. Записка была принята без вопросов. Дома тем более никто ничего не заподозрил.

В пятницу она, как обычно, вернулась домой к пяти часам. Свет в квартире уже горел - видимо, мама пришла с работы пораньше. Лида поднялась и позвонила.

Лицо у мамы было красным, как будто сгорело на солнце. Она схватила Лиду за куртку, втащила в квартиру и захлопнула дверь.

- Я сегодня была на родительском собрании, - сказала она очень холодным тоном. - И меня там спросили, как тебе понравилась экскурсия.

Лида стояла, ни жива, ни мертва. Про родительское собрание она совершенно забыла.

- Ну? - сказала мать. - Что это все значит? Что это значит, я тебя спрашиваю? Где ты ходишь вместо школы? Где ты была весь день?

- В Кунст-камере, - пробормотала Лида, и пошатнулась, потому что ухо ожгло болью: мать с криком "Не ври!" залепила ей затрещину. Лида схватилась за ухо, изумленно уставясь на мать. За что? За правду? Тогда зачем было спрашивать? Ухо и скула горели, как будто к ним приложили раскаленный шар, и еще один такой шар, только гораздо больше, наливался у нее прямо посреди груди, и от этого было так горячо, что у Лиды потемнело в глазах. Мать что-то еще кричала про неблагодарного ребенка, из-за которого ее так унизили, отчитали на родительском собрании - ее! отчитали! при всех! - а она даже не знала, что сказать, потому что думала, что если ребенок утром уходит, а вечером возвращается, то день он провел в школе, а не черт знает где! Что у нее, оказывается, дочь - прогульщица и врунья, и как она только могла сделать такое с собственной матерью!

В глазах было темно, в ушах звенело. Раскаленный шар понемногу остывал и превращался в каменный. Перед глазами прояснилось - обои из темно-бордовых снова стали бежевыми, на них даже появился знакомый узор в виде розочек. Лида медленно, негнущимися пальцами, нащупала молнию на куртке, вставила кончик в язычок и аккуратно потянула, снизу вверх, застегивая куртку до самого горла. Мать кричала, Лида смотрела в розочки на обоях и повторяла про себя: "Передо мной табуретка. Передо мной табуретка. Передо мной табуретка."

дела семейные

Давай сделаем так.

Окна у нас заклеены, их мы не тронем, а под дверь положим одеяло, которое у нас вместо пледа. Свернем в жгут и положим, чтобы хорошо щель закрыло, чтобы не потянуло раньше времени. Во-от. Ты ешь, ешь, напоследок-то, у меня там вовсе какие-то копейки остались, вот я тебе с рынка на последние, творога-то с рынка, да со сметаной, милое дело, это тебе не магазин "диета" с тараканами и красной подсветкой в мясном отделе, которую если выключить, увидишь, что все зеленое уж неделю как. Можно было бы, конечно, и мяса нам с тобою купить - ах, какое мясо смотрело на меня на рынке! - но это было бы только тебе, потому что на кухню я не пойду, я не могу на кухню идти, я трушу, ничего никогда не боялась, все пережила, а на кухню сейчас идти трушу, там ведь эта, крашеная в бигудях, я на ее нос лоснящийся смотреть больше не могу, крыса она, крыса, царица Крысинда, сожравшая сало. Ее даже собственный ребенок боится, бледнеет и шарахается, я же видела. Раньше хоть ночью можно было готовить, но теперь там по ночам этот бледный мальчик сидит, с тараканами разговаривает. Они - шур-шур-шур по шкафам, а он им - такие дела, ребята. Позавчера выхожу - перед ним крыса сидит, здоровая такая, а он ее с руки кормит. Я чуть не закатилась, вот не поверишь, прям на месте, где стояла, там и развернулась и пошла по коридору, за стеночку придерживаясь.

Нет, не пойду на кухню. Больше никогда не пойду на кухню.

Да и зачем нам с тобой на кухню? Тебе плошка с творогом, мне плошка с творогом. Где-то у меня были остатки сахару... ага, вот они. Я себе посыплю, тебе не надо, нет? Ладно, не вороти носу-то, твоя полосатость, не буду портить твой творог. Ешь. Ешь, наедайся напоследок. Мы с тобой ровесницы, да на человечий счет тебе куда больше, чем мне, дуре беспутной. А в пятнадцать лет казалось - когда-а еще двадцать пять будет, я ж уже старухой стану! Старуха и есть. Старуха есть, Родионроманыча на нее нету, придется самой, такие дела, ребята.

Все. Деньги кончились, учеба кончилась, любовь прошла, завяли помидоры. Одна ты у меня все мои двадцать пять, ста-аренькая ты у меня уже, полосатый ты мой зверь, старенькая и больная, вон худая какая, одна кожа да кости, да и я не лучше. А у меня даже нет денег на то, чтобы тебя усыпить. Даже на смерть для нас с тобой нет у меня денег. Про ребенка... мы не будем про ребенка, правда? И про него тоже не будем, он до-обрый, он або-орт оплатил, да еще и проследил, чтобы на что другое не потратила, хоро-оший мой. Прав, да, кругом прав, куда такой рожать? Куда вообще такой? Некуда. Вот и не будем.

Наелась, да? Ну, давай устраиваться. Ты не бойся, мы с тобой сейчас сытые как давно не были, нас быстро в сон потянет. Мы под одеяло заберемся и заснем. Спички нынче дешево стоят, а у меня еще и полпачки димедрола от былой роскоши осталось. Ну вот, вот, окна закрыты, дверь заложена. Вату тлеющую мы сейчас подушкой накроем, знаешь, как дымить будет. Иди ко мне сюда.

Как же ты мурчишь, как трактор мурчишь, это творог в твоем пузе мурчит, ты спишь уже, а у меня под рукой и боком вибрирует твой мурчатель, и тепло, тепло, сонно и тепло... Паленым потянуло. А мы подоткнем одеяло. Тихо, тихо умрем.

Никто не придет.

петра

Две тысячи триста восемьдесят четыре голубя на пьяцца Сан Марко. Голубь Лада, голубь Клара, голубь Джонни, голубь Вита, голубь Александретта.

Таков уговор, как говаривал один фонарщик. Нельзя написать «Мадонна Литта», но можно написать «шестьдесят две кошки Эрмитажа» - и перечислить поименно. Нельзя написать «Вестминстер и все сокровища Национальной галереи», зато можно быстренько выписать в столбик: Хугин, Мунин, Гвиллум, Балдрик, Тор и Бранвен. И тогда ночь пройдет, а Тауэр будет

стоять на прежнем месте, а вместе с ним – город Лондон, а в нем – и лондонское метро, и Национальная галерея со всеми своими сокровищами, и граненый готический карандаш Биг-Бена.

Голубь Арно, голубь Дани, голубь Соня, голубь Аделина.

Считать голубей приходилось часто, не меньше дюжины раз за год. Десять месяцев в году стеклянистый зеленый язык лагуны облизывал набережные Островов нежно, как любимое мороженое. Но зимой вода наливалась тьмой и злобой, врывалась в город, грызла двери и балконные решетки, рычала, стонала и выла, и тогда Петра садилась в темной комнате за письменный стол, доставала новую тетрадь, выводила на первой странице число, всякий раз другое, но всякий раз больше двух тысяч. А потом всю ночь выписывала имена. Под конец ночи рука немела, шея затекала, имена путались, и ей приходилось заглядывать на предыдущие страницы, чтобы не повторить одно и то же дважды. Куда как проще было с Лондоном – шесть имен воронов, делов-то. Только вот с Лондоном неприятности случались куда реже, чем с Островами.

Но так было надежнее – считать живое. Раньше она могла бы переписать сто восемнадцать островов или даже все четыреста с гаком мостов, и это действовало. Перечислить нечто, присущее только этому месту – казалось бы, чем не самый лучший якорь? Но летом в две тысячи втором, во время небывалого наводнения, она ночь за ночью перечисляла все мосты Праги, все ее синагоги, наконец нашла и переписала всех Големов – от глиняных обломков в Старо-Новой синагоге до мозаики в два цвета, выложенной перед какой-то таверной в Йозефове. А лучше бы сразу начала со слонов в зоопарке. Синагоги-то как раз уцелели.

Голубь Альба, голубь Рико, голубь Тинторетто.

Иногда Петра спрашивала себя: ты что, правда думаешь, что это работает? Где у тебя хоть какие-то подтверждения, что работает именно это? Что именно двадцать страниц школьной тетрадки в клеточку, исписанные от руки, могут удержать море? Или пожары? Или вообще хоть что-нибудь?

Такие вопросы означали, что она очень устала. Был год, когда не было ничего, кроме этих вопросов, за целый год она не отсидела ни одной ночи. Как назло, в этот год как раз ничего особенного не случилось. То есть выходило, ее тетрадки и впрямь ни на что не влияли. Был год, когда она запретила себе вообще задавать такие вопросы. И уставать тоже запретила. И этот год оказался куда тяжелее того, пустого года.

Голубь Титто, голубь Ноли, голубь Филумена.

Каждый раз она просто знала. «Идет коза рогатая», - говорила она себе, и это мог быть и огонь, и вода, и ветер. «Идет коза рогатая за малыми ребятами», - был такой детский стишок, и года в три боялась она этой козы до обмирания, представляла себе белую рогатую козу с длинной, свалявшейся шерстью, с желтыми глазами, перечеркнутыми веретенами зрачков. Коза просто шла, наклонив голову, глядя снизу вверх, просто шла, но было понятно, что ее не остановит никакая сила, а когда она дойдет до Петры, случится что-то совершенно невыносимое. От козьей мерной поступи желудок холодел, сжимался и уходил куда-то вниз, чуть ли не в пятки.

И вот так же ей скручивало желудок, внутри становилось очень холодно и гулко, какое-то время она ходила из угла в угол, словно баюкая камень, в который опять превратился ее живот, а к вечеру точно знала, что ночь будет рабочей. Петра доставала чистые тетрадки, тонкий фломастер, садилась за стол и ждала, когда отпустит. Тогда камень теплел, узел расходился, можно было дышать и даже варить себе кофе, не боясь разбудить мать. Обычно это случалось к часу ночи. А к половине второго Петра точно знала, от кого на сей раз нужно отводить козу рогатую.

Голубь Элла, голубь Беппо, голубь Катарина.

Даже если она делала это только для себя, только для того, чтобы отпустило живот, - почему бы и нет? Кто-то занимается йогой, кто-то – дыхательной гимнастикой, кто-то – ложится в теплую ванну. Ей было легче так. Почему бы нет.

Ярко-желтые квадраты окон загорелись на правой стене, пронеслись по потолку и пропали слева – мимо дома проехала машина. Петра жила без занавесок, а писала при свете уличных

фонарей. Сколько себя помнила, она отлично видела в темноте, могла читать и писать просто при свете в окно. Конечно, начиналось все с боли и беспокойства, но все-таки Петра любила эти особые ночи. Когда она писала, мир будто останавливался. Будто на всей планете существовали только она, ее тетрадки и те, кого в этот раз готовилась поглотить темнота. Мир держался на ней. Это было очень хорошее ощущение. Когда ей было лет восемь, она вот так же сидела и переписывала все вещи в своей комнате, каждую куклу, каждую книжку, каждый карандаш в плетеном стакане. Петра перекатывала леденец за щекой, на языке было сладко, а в животе – горько. Живот болел, за стеной сначала отец кричал на маму, потом мама кричала на отца, потом плакала, потом снова кричала, а Петра выводила строчку за строчкой, чуть высунув язык от усердия, тщательно следя за тем, чтобы буквы стояли ровно, а все точки и черточки не лезли друг на друга. К тому моменту, как опись была закончена, боль отпускала, скандал за стенкой стихал, так что Петра не без гордости оглядывала ровные строчки, ставила внизу свое имя – «Петра», - и тоже укладывалась, и спала очень крепко, а наутро просыпалась в прекрасном настроении. Свет у нее никогда не горел, хватало фонарей за окном, и ее ни разу не застукали.

Разошлись родители, когда Петра уехала из своего городка в Сан-Франциско, учиться в Сен-Жиле. Мать потом говорила, что ее будто отпустило. Будто какая-то сила, державшая их брак, взяла и сошла на нет. Два взрослых человека вдруг обнаружили, что им нечего делать вместе, просто удивительно, говорила она. И разошлись мирно, без скандалов, даже с каким-то облегчением. К тому времени Петре было уже не до того, у нее был первый бурный роман, а в тетрадях появлялись списки трамваев старой канатки. Или морских котиков на Пирсе 39, или сувенирных лавок на Фишермен-ворф. Днем они с Майком гуляли по городу, к вечеру непременно ссорились, а к ночи у нее снова болел живот, да так, что даже сидеть приходилось немного согнувшись.

Голубь Нико, голубь Джино, голубь Симонетта.

Она совсем не знала, нравится Майку или нет. С одной стороны, по всем признакам, она ему нравилась. С другой стороны – можно подумать, она никогда в зеркало не смотрелась. Толстая, нос кнопкой, волосы сухие и торчат во все стороны. Глаза, конечно, яркие, но маленькие, одна радость - кожа. Кожа у нее была - хоть в рекламе снимайся. Нежная, бархатистая, очень светлая. Даже подростком она не знала, что такое прыщи. Зато знала, что такое размер DD применительно к лифчикам.

День за днем они гуляли, целовались, потом спорили, потом ссорились, потом поспешно мирились, а ночью Петра писала списки. Списки тех мест, где они бродили накануне. Того, что они еще не попробовали в «Чесночном раю», где даже мороженое, и то с чесноком. Или улочек на Русском Холме. И, пока она писала, боль отпускала, уходила, будто вода в сток. Закончив список, Петра доедала шоколадку – пятую за день, - и ложилась спать с уверенностью в завтрашнем дне. В завтрашнем дне будет она, будет Майк, будет город, и все это вместе, а не порознь, потому что ей это необходимо, как воздух, а тьма снова останется ни с чем.

Больше полугода их троица оставалась нерушима, хотя ссорились они все больше, а целовались и спорили все меньше. В конце концов, конечно же, нашлась сердобольная подруга, которая открыла ей глаза, сидя за чашкой каппучино на набережной.

Нужно было просто сказать Майку - иди, дорогой, никто тебя не держит. И Петра твердо решила так и сделать. Но едва его увидела, накинулась с упреками. Какого черта, дорогой и любимый, как так можно, у меня за спиной, с этой долговязой, и весь курс уже смеется. На что дорогой и любимый принялся что-то врать, путаться, а под конец выпалил, что не может так больше, что он будто связан по рукам и ногам, что уже сколько времени думает, надо бы просто сказать, что у них - все, и каждый раз откладывает на утро, - и каждое утро не понимает, что это на него нашло, зачем им расходиться. А потом они встречаются, он смотрит на Петру и снова дает себе слово все сказать - и опять у него язык будто замерзает, как на приеме у стоматолога.

Голубь Джемма, голубь Рауль, голубь Доменико.

Петра плакала полночи. Оплакивала все - и себя, и размер своих брюк, и несбывшееся счастье, и прогулки по городу, которых теперь не будет, потому что не гулять же одной. И наплакала себе такую боль, что едва не кинулась вызывать скорую. Тогда Петра вытерла слезы,

кое-как умыла лицо и села писать. Просто чтобы было не так больно. Она выводила огромный список драконов в Чайнатауне и дошла уже до трехсотого, когда город тряхнуло. Хорошо так тряхнуло, основательно. А Петру отпустило. Она сидела с прямой спиной, аккуратно положив локти на стол, под правильным углом держа тетрадь, выписывая одну идеальную букву за другой. Она сидела всю ночь, а на улице не смолкал вой сирен.

Сан-Франциско остался цел. Город практически не пострадал, землетрясение прошло стороной, больше всего досталось пригородам, да на Бейбридже обрушился один пролет. Ни в какое сравнение с землетрясением 1906 года это, конечно же, не шло. Подумаешь, асфальт взломало на улицах.

Город принял ее помощь, город дал ей понять, что она нужна, просто необходима. Город водил ее по своим рынкам и набережным, катал на смешных трамваях с холма на холм, рассказывал истории, раскрывал сокровища. С самого начала у нее был город, а она, как дура, влюбилась в сокурсника, самого обычного мальчишку, которому только и нужно, что длинные ноги да смазливое личико. Да захоти она - Майк маялся бы всю жизнь, а она его нарочно бы держала, не любила, а просто держала при себе, как вещь. Сознание собственной силы, собственной тайны, прекрасной, как ее безупречный почерк, оказалось куда слаще, чем сознание того, что она кем-то там любима.

Голубь Анна, голубь Марко, голубь Джиованни.

С тех пор все пошло как по маслу. Петра училась, работала, поглощала шоколад и донатсы, копила деньги, а летом ехала в город, который мог бы отозваться на ее силу. Больше всего их было в Европе. Лондон, Санкт-Петербург, Рим, Венеция, Прага, Вена, Париж, Мадрид. Чаще, чем раз в год, она ездить не могла, заработки не позволяли, да и мать была против. Но каждый год у нее был новый роман, и каждый год ночной работы прибавлялось.

Ни один мужчина в подметки не годился ее городам. Ни один оргазм не мог сравниться с тем дивным ощущением покоя и уверенности, которое нисходило на нее, когда Петра начинала писать. Ее тетради можно было выставлять в музеях каллиграфии. Она заполняла строчку за строчкой, иногда распрямляясь и любуясь на безупречные ряды букв и слов. В такие ночи она держала на себе весь мир.

Голубь Зита, голубь Орсо, голубь Джироламо.

Вот и сейчас она перечисляла голубей, и знала, что между городом и водой стоит только она, Петра. Только от нее зависит, останутся ли в этом мире каналы, маленькие площади, сотни и сотни мостов, выживут ли две тысячи с лишним голубей, а с ними - площадь Святого Марка, колонна с крылатым львом, собор с куполами-медузами, ряды арок вдоль галереи. У них не было никого, кроме толстой одинокой женщины, живущей на другой стороне Земли.

Голубь Лиа, голубь Нино, голубь Паулино.

Желтые квадраты окна снова скользнули по потолку, затем послышался глухой удар и визг тормозов. Рука Петры дернулась, поехала вниз, перескочила на следующую строчку. Взревел мотор, машина уехала. На шоссе опять сбили какого-то зверя. Петра встала, подошла к окну, свесилась в ночь. Сердце колотилось, как бешеное. Со стороны дороги не доносилось ни звука. Либо удрал, либо насмерть. Кто это был – енот или соседский кот? У Петры кошки не было. Она закрыла окно, села за стол, выдернула испорченный лист, снова стала выводить: "Голубь Рита, голубь Дым..." - и завыла в голос, бросив фломастер.

Двадцать пять лет назад такой же летней ночью Петра выскочила из окна в сад, помчалась прямо в пижаме через кусты к дороге, во весь голос зовя свою кошку, и нашла ее на обочине, смятую, страшную. Петра схватила ее на руки, Дымка издала какой-то невнятный, очень низкий звук - и умерла на месте. Потом уже Петре сказали, что ни в коем случае нельзя хватать сбитых животных, потому что может быть поврежден позвоночник. Но она ни в чем не виновата - скорее всего, Дымке уже ничем нельзя было помочь.

Двадцать пять лет псу под хвост, с внезапной яростью думает она, города она тут спасает, спасительница хренова. Да все города на свете я бы променяла на то, чтобы выжила моя кошка.

Петра воет, зажимая себе рот левой рукой - чтобы не разбудить мать. А правой выводит через разворот - Дымка, Дымка, Дымка. Выводит почти печатными буквами, вкривь и вкось, рука дрожит и не слушается, да еще и рукав пижамы мешает. Петра чертит буквы, а пижама на ней становится все больше и больше, стул уезжает куда-то вниз, так что за столом сидеть ужасно неудобно, Петра зажимает себе рот и пишет - кошка Дымка, кошка Дымка, кошка Дымка, - а чей-то голос в голове кричит ей с обратной стороны уха: дура! живая кошка Дымка! пиши, дура, живая, живая, живая кошка Дымка! И Петра хочет написать это ровно и красиво, но пишет криво и косо, и роняет карандаш, и лезет за ним под стол, и путается в пижамных штанах, вдруг ставших огромными, как палатка, падает со стула и крепко ударяется затылком о тумбу стола.

Найдя карандаш, она заглядывает в тетрадь. Там синим цветом, печатными буквами, ровными строчками красуется список ее игрушек, кукол и книжек-раскрасок. А поперек разворота, наискось к углу, записано то, что ей прокричала невидимая женщина - "Живая, живая, живая кошка Дымк..." Петра изумленно оглядывает чужую взрослую пижаму на себе - а куда девалась ее, с Микки Маусом? Рукава она подворачивает, а из штанов попросту вылезает, и получается очень здорово - огромный шелковый халат в атласную розовую полоску. Петра пытается оглядеть себя со спины, и тут со стороны дороги в открытое окно доносится глухой удар и визг тормозов. «Дописывай! – раздается в голове тот же голос. - Дописывай, толстая клуша!»

Петра вовсе не толстая и вовсе не клуша, но она дописывает букву «А», одна палочка, другая, потом перекладина. «А теперь беги!» - кричит тот же голос, и Петра наконец понимает, что это был за звук и почему визжали тормоза. Лицо ее мгновенно перекашивается от слез, но она лезет в окно, свешивается в сад и бежит через кусты к шоссе, где почти полная луна раскрасила все в черный и белый цвет, и на белой траве обочины лежит черное пятно, хотя на самом деле Дымка серая, жемчужно-серая и пушистая, не зря же ее зовут Дымка.

«Не трогай!» - кричит голос, и Петра садится на корточки, зажимает пальцы в кулаки, кулаки прижимает к груди и тихонько зовет: Дымушка, Дымка. Дымка издает жалобный мяв и проползает шаг ей навстречу. Дымушка, повторяет Петра, Дымочка моя. Кошка неуверенно встает на ноги и идет к ней, слегка припадая на переднюю лапу. Она бодает Петру в голую коленку, начинает ластиться и тереться, и вот тогда Петра осторожно берет ее на руки и бежит в дом. Она выпускает кошку в свое окно, бежит к веранде, приносит под окно стул и залезает сама, и пока она лезет, Дымка грузно запрыгивает на ее кровать и ложится поверх одеяла, хотя мама Петры решительно против подобных вольностей. Петра прислушивается. За стеной еще слышны голоса родителей, но ссора явно стихает. Петра ныряет под одеяло. Дымка переползает поближе к ней. Ее мохнатые бока так и ходят от тяжелого дыхания.

- Утром мы пойдем к врачу, - обещает ей Петра. – И он полечит твою лапу. И я тебя больше никогда не выпущу ночью, никогда-никогда.

Она лежит, боясь пошевелиться и потревожить кошку, и слушает голоса за стеной. А что если, думает она, что если сейчас встать и написать в той же тетради – «мама и папа любят друг друга сильно-сильно»? Но голос в голове молчит. Вот сейчас встану и напишу, думает Петра изо всех сил. «Не надо, - говорит голос, но уже очень тихо, будто издалека. – Бросай-ка ты эту муру. Пусть разбираются сами».

девочка с куклой

В городе было холодно и светло. На дворе стояла зима, до нового года оставалось всего ничего, и сотни цветных лампочек отражались в лужицах от подтаявшего снега. Везде пахло елками, выпечкой и фейерверками. Девочка ходила от дома к дому, останавливалась под яркими, теплыми окнами и прислушивалась. Дома с темными окнами она проходила мимо.

Вот дом за аккуратным палисадником: в окнах – свечи и звезды, на входной двери – еловый венок с красными колокольчиками на золотых лентах. В палисаднике, посреди сугробов - упряжка электрических оленей везет сани Санта-Клауса. У оленя Рудольфа вместо носа горит большая

красная лампочка. Дверь дома распахивается, на крыльцо выскакивают двое мальчишек, постарше и помладше. Старший внезапно оборачивается:

- Не ходи за мной! И вообще – оставь меня в покое! Слышишь?

И уходит по улице. Младший застывает на ступеньках. Девочка прекрасно видит его в свете рудольфова носа. Девочка садится на корточки, достает из-за пазухи соломенную куклу, а из кармана – кусок кекса. Протягивает кекс кукле.

- На, куколка, покушай, горя моего послушай, - быстро шепчет девочка. – Жили-были добрые люди, и было у них два сына. И вот однажды уехали родители за покупками в город, а братьев оставили дома. И младший все просил брата: поиграй со мной, почитай мне. А старшему не хотелось. И в конце концов он крикнул: оставь меня в покое! – и выгнал младшего за дверь. Да и зачитался книжкой про пиратов. А потом спохватился, выбежал на крыльцо, а брата нет... и понял тогда старший, что ему надо найти брата, пока не пришли родители, и ушел в темный лес.

Все это она бормочет, глядя прямо в кукольные глаза-пуговицы. Куколка сидит в снегу. Девочка шепчет все быстрее и быстрее. Мальчишка, насупясь, сбивает носком ботинка сосульки с крыльца.

- И оба сгинули в лесу, и никогда не вернулись домой, а их родители завели себе другую, хорошую девочку...

Куклины глаза вспыхивают так ярко, будто они не из пластмассы, а по крайней мере из золота. За калиткой слышны шаги. Старший брат сердито зовет с улицы:
- Ну? Что ты там застрял? Магазин закроют!

Младший шмыгает носом и бежит к брату. Девочка умолкает. Потом сует куклу за пазуху, встает и уходит на поиски другого дома.

Девочка не мерзла. Конечно же, она была одета: в шубку, шапочку, варежки и теплые сапожки. Ей никогда не бывало жарко или холодно, одежду она носила только для того, чтобы не отличаться от прохожих. Ну и потому, что ей очень нравились ее шубка на заячьем меху, красные вязаные варежки и шапочка, а больше всего – сапожки из тисненой козлиной кожи. Любая девочка, заполучив такие сапожки, ходила бы только в них, даже летом.

Девочка шла вдоль домов, сжимая в руках соломенную куколку. Раз в год, в один и тот же вечер, в Сочельник, она ходила в своей шубке и сапожках по ярко освещенным улицам, выглядывая дома с детьми. Именно с детьми: семьи с одним ребенком ей не годились. Двое детей ссорятся гораздо чаще. И шуму в такой вечер от них гораздо больше. А где шум, там и подзатыльники. А где подзатыльники, там обида. А где обида, там ее добыча.

Еще один дом. Мягкий желтый свет из-за ситцевых занавесок. Нарядная елка посреди двора, пушистая мишура над дверью. Дверь открывается, и на улицу, кутаясь в огромную шаль, выбегает девочка лет пяти. Огромный мягкий снежок вылетает из-за кустов и едва не сбивает ее с ног.

- Что ты за чучело! – в сердцах кричит девочка. – Бабушка зовет-зовет, уже час зовет! Немедленно иди домой!

Она даже слегка топает ботинком от возмущения.

Над кустами появляется голова в вязаной круглой шапке с огромным пестрым помпоном. Голова показывает девочке язык.

- А ты догони меня! – кричит голова. - Догонишь – пойду домой!

Девочка с куколкой прячется в тени и шепчет, сжимая соломенное тельце обеими руками:

- Жили-были бабушка и двое ее внуков, мальчик и девочка. И вот однажды, когда мальчик играл на дворе в снежки, мимо проезжала Снежная королева.

- Идешь ты или нет?

- Догони! Догони! – В девочку летит еще один снежок.

Девочка с куклой шепчет и шепчет:

- И тогда мальчик прицепил свои санки к саням Королевы, и она увезла его далеко-далеко, на Северный полюс. А девочка пошла его искать, и у бабушки никого не осталось. И так стало бабушке одиноко без внуков, что она взяла себе...

Глаза куколки загораются ярче, чем лампочки на елках. На расчищенной дорожке появляется фигура в белой шубе.

- Что это вы тут затеяли, поросята? – грозно интересуется фигура.

- Тетя Ханна! – кричит девочка и бежит навстречу. – Тетя Ханна, я его зову-зову, и бабушка зовет, а его домой не загнать!

- Да? – басом говорит тетя Ханна. – Ну, значит, обойдемся без него. У меня полная сумка мультфильмов, ваши кузены сегодня прибрали свою комнату. Отнеси, говорят, малышне, мы уже, говорят, взрослые такое смотреть. Ну вот мы с тобой сейчас будем смотреть, что у меня там, а Матиас пусть...

- Мультфильмы! – вопит Матиас и выскакивает из кустов.

Девочка с куклой выдирает из соломенного тельца влажный клок и кидает его в снег. И снова идет вдоль домов.

Куколка у девочки была с тех пор, как умерла мама, то есть почти всегда. Мама долго болела, все лежала у себя и вздыхала, а потом вдруг позвала девочку и отдала ей эту куклу. Сказала: если тебе что-нибудь будет нужно, посади ее перед собой, дай лакомства, скажи «на, куколка, покушай, горя моего послушай», и расскажи о своей нужде. Все тебе будет.

И правда, все девочке было. Что бы она ни загадала – сласти, новая шубка, цветная лента. Нужно было только рассказать про девочку, у которой сначала нет новой шубки или цветной ленты, а потом есть. И глаза у куклы загорались, как свечки, а потом на лавке или под столом или в сенях девочка находила то, что просила. Однажды она рассказала про девочку, которую сводные сестры выгнали ночью за огнем к самой бабе-яге. И про то, как девочка пошла в лес и нашла там дом. И когда она пошла в лес, то очень быстро набрела на маленький дом. Он стоял в самой чаще над болотом, на толстых черных сваях, как на ногах. Бабы-яги дома не оказалось, зато была печь, и медвежья полость на печи, и сундуки с добром, и лари с мукой, и старый колодец чуть поодаль. Девочка твердо решила дождаться бабы-яги и напроситься к ней во внучки, потому что никаких сестер у нее, если честно, не было. То есть к тому времени уже – не было. Когда-то они были, и сестры, и мачеха, и отец, но все куда-то подевались. Девочка не любила об этом вспоминать. Все делала куколка, а девочка была ни при чем.

Баба-яга так и не явилась, а, может, и правда не было ее на самом деле, только в сказках. Девочка осталась жить в доме на черных сваях. Пока с ней была куколка, она ни в чем не знала нужды. Куколка могла все. Одного она только не могла – сделать так, чтобы у девочки снова была мама. Даже в Сочельник, самый волшебный день года, когда сбывается всякое желание.

В Сочельник девочка идет в город искать подходящий дом. А потом просит куколку. И когда глаза куколки загораются, девочка думает, что вот на этот раз непременно все получится, она войдет и скажет «мама!», - и каждый раз случается какой-нибудь досадный пустяк, который все портит.

Девочка снова идет вдоль домов. Улица почти кончилась. На крыльце последнего дома появляется огромная корзина. Того, кто ее держит, почти не видно за переплетенными прутьями. Девочка знает, что это значит. Это значит, что кого-то послали среди зимы за подснежниками. Милую, добрую падчерицу выгнала из дому злая мачеха.

Очень жаль, что этот дом не подходит, ведь у него на двери такой красивый венок, и свечи-плошки горят по всему палисаднику. Но злая мачеха никак не годится в мамы. Ладно, хорошо, думает девочка. Если не заполучить маму, то хотя бы сестричку. Им было бы так весело в теплом зимнем доме на сваях. Вот сейчас эта девочка с корзинкой сойдет с крыльца и отправится прямо в темный лес, на верную смерть. Разве это плохо – спасти ее? Разве плохо – забрать у злой мачехи?

Почему ей раньше не приходило это в голову? Год за годом, сочельник за сочельником – она сочиняла сказки, в которых дети уходят в лес и погибают, а она занимает их место. Конечно же, у нее ничего не получалось, ведь это было бы совсем не доброе чудо, теперь она это понимает. Теперь все будет по-другому, думает девочка и смеется, и подходит к самому крыльцу, быстро

рассказывая самую чудесную в мире сказку, про то, как среди зимы встретились две сироты, как они ушли вместе и как славно зажили в лесу в доме на черных сваях.

Глаза куколки загораются ярче, чем плошки в саду.

На крыльцо выходит женщина, берет у дочери корзинку.

- Давай-ка я ее понесу.

- А я что понесу? – спрашивает девочка.

- А ты понесешь конфеты. Мы зайдем по дороге к фрау Матильде, поздравим и подарим ей шоколадные шишки.

- Но мы же принесем веток?

- Конечно.

- Но у нас не будет шоколадных шишек?

- Как же у нас их не будет, когда мы купили три коробки? Одну отнесем фрау Матильде, две останется нам. Держи.

Мама отдает дочери коробку, перевязанную широкой золотой лентой, дочь обнимает коробку обеими руками. Они проходят мимо девочки с куклой. Девочка стоит за живой изгородью, не шевелясь и почти не дыша. А потом срывается с места и бежит, бежит к лесу, бежит изо всех сил.

Девочка возвращается в лесной дом. В окнах темно, на крыльцо нанесло снегу. Она бросает одежду в сенях и вбегает в стылую горницу. Соломенная кукла пучком торчит из ее кулака.

«Это все из-за тебя, из-за тебя, из-за тебя!» - кричит девочка и бьет куклу головой о стол. Солома так и летит. Девочка хватает спички, чиркает о коробок сразу тремя, сует их в темную пасть печи. Береста вспыхивает мгновенно, за ней занимаются мелкие щепки, пламя с ревом поднимается над поленьями. Тогда девочка с размаху кидает куклу прямо в печь. И захлопывает дверцу.

Бросив куклу в огонь, девочка плачет. Она плачет и плачет, уткнувшись лицом в медвежью шкуру, плачет горько и громко. В маленьком доме на черных сваях можно плакать вволю, не стесняясь никого, не ожидая, что кто-то услышит и придет. Можно плакать во весь голос, пока не устанешь настолько, что кончатся слезы. А еще девочка знает: если заснешь в слезах, то увидишь во сне маму. Не каждый раз, но часто. И она засыпает, с мокрым и опухшим лицом.

Вот тогда куколка выбирается из печки, целая и невредимая. И начинает хлопотать по хозяйству – все-таки Сочельник на дворе. Дом преображается. Полы светятся воском, в намытые окна заглядывает луна, из печи тянет вкусным духом. Совсем под утро куколка ставит в угол елку, наряжает ее орехами в золотой фольге, яблоками в карамели, конфетами в цветных обертках, добытой в городе мишурой. Закончив все дела, куколка повязывает себя красной ленточкой и ложится под елку.

Скоро ее девочка проснется.

ИСТОРИИ

заказ

- На такие вещи должен быть заказчик, - сказал Игорь.

- То есть мне ты дракона не нарисуешь, - прищурилась Рада. – Потому что даром, да?

- Ты не понимаешь. Дело вообще не в деньгах, хотя кто ж от них откажется. Но должна быть поставлена задача извне, так, как я бы ее себе никогда не поставил. Должен придти заказчик и заставить меня прыгнуть выше собственной головы. Должно произойти что-то помимо меня и сюжета, понимаешь?

- А я, значит, тебе эту задачу поставить не могу?

- А ты можешь? Ты не ставишь задачу, ты говоришь: – «нарисуй мне дракона», - и я рисую, я умею рисовать, запросто. Ты не говоришь «нарисуй мне гнев» или, скажем, «нарисуй мне алчность», ты говоришь «нарисуй мне дракона».

Рада поджала губы.

- Да, я говорю «нарисуй мне дракона», потому что я хочу дракона. Я не хочу гнев, я не хочу алчность, я хочу дракона. А если тебе это неинтересно, так и скажи.

- Я нарисую, - примирительным тоном сказал Игорь. – Просто я не об этом совсем.

Рада перешагнула лужу и взялась за ручку тяжелой двери. Верхняя часть двери была стеклянной, в частом свинцовом переплете, и сквозь стекло и решетку просматривались книжные стеллажи. Над дверью красовалась вывеска «Шекспир и компания», а на самой двери – картонка с надписью «Книжный клуб по средам. Ждем всех желающих». Обе были по-английски.

- Ну что, точно не пойдешь? – спросила Рада, обернувшись на него. Она хмурилась и держала голову немного вперед, словно собиралась таранить лбом что-то очень неподатливое. Игорь вздохнул.

- А давай пойду, - сказал он. – Что уж, раз до самых дверей дошел.

Идти в клуб ему не хотелось по очень простой причине: Радка болтала по-английски вполне свободно, а вот он понимал одно слово из четырех, а сказать мог и того меньше. А это значит, что он забьется в угол дивана с чашкой чая и будет в лучшем случае глубокомысленно мычать в ответ на обращенные к нему реплики. Рада пыталась его утешить тем, что Диана, хозяйка книжной лавки и клуба по средам, пять лет прожила в Москве, и, если что, можно и по-русски, но на клубные чаепития у Дианы собиралась местная англоязычная диаспора, а это означало, что русский будет неуместен.

Но уж лучше я посижу в углу пару часов, решил он. Жалко, что блокнота не прихватил, можно было бы порисовать.

На самом деле выяснилось, что действительно не понимает он только одного гостя, британца, симпатичного тощего старика, который не выговаривал половину согласных. У него были сильно отросшие седые волосы, желтые спереди от табачного дыма, и потрясающей красоты руки с узловатыми пальцами, они заметно тряслись, когда он брал чашку. Речь остальных была вполне разборчива, и через какое-то время Игорь поймал себя на том, что следит за беседой с веселым любопытством. Обсуждали все на свете: почему "корабль" в английском языке - женского рода, цены на съемное жилье, раннее жаркое лето, летучих мышей, и да, в том числе и литературу. Заслушавшись историей о том, как Эдгар безуспешно пытался избавиться от колонии рукокрылых в своем доме в Калифорнии, Игорь не глядя потянулся к чашке чая и только отпив, сообразил, что чашка не его. Он наливал себе черный, а в чашке был травяной. Он искательно обернулся - и увидел, как его чашку берет хозяйка и преспокойно допивает последние несколько глотков.

Не могла же она не заметить подмены, подумал Игорь, и вот тут все и случилось.

Во-первых, усилились все запахи.

Во-вторых, первая же реплика Артура, старика с седыми патлами, прозвучала ясно и внятно, ну, может быть, с легким пришептыванием.

В-третьих, у молодого человека, имени которого он не запомнил и который сидел рядом с ним на узком диванчике, обнаружилась опухоль где-то в животе слева, и одновременно пришло точное знание, что молодому человеку о ней очень хорошо известно, она доброкачественная, он живет с ней уже два года и даже придумал ей имя.

Игорь взглянул на Диану. Она как ни в чем не бывало болтала о ценах на книжном рынке. Внешность ее никак не изменилась - все та же чудачка лет семидесяти, обожающая книги и своего

рассел-терьера, в меру бизнес-леди (очень в меру), в меру авантюристка. Но воздух в паре сантиметров вокруг нее был чуть-чуть плотнее и темнее, чем в комнате.

Он не помнил, как прощался, не помнил, как выходил из книжной лавки. Радка оживленно рассказывала, что пока он топтался в дверях, она успела договориться с Алексом об участии в его групповых медитациях и узнать, что он увлекается витражами, но тут, в съемном жилье, конечно, не развернешься. Большую часть ее монолога Игорь пропускал мимо ушей. В голове вертелась почему-то старая цитата: «Мир ловил меня, не поймал». И тут Радка произнесла ее вслух:

- Самое настоящее мир ловил меня, не поймал, да?

- Ты о чем?

- О Диане. Знаешь, я на нее уже три года смотрю, у нее раньше лавка была в другом месте, помнишь, я ей еще переезжать помогала? Так вот, она за эти три года помолодела лет на десять. Сидит человек среди книг, все ему нипочем, шаманит себе помаленьку, и ведь к ней ходят, а казалось бы, кому тут нужны старые книжки на английском в таком количестве. Состав все время меняется, а ходят и ходят. Хорошо быть ведьмой на пенсии, а?

- Она не ведьма, - сказал Игорь рассеянно. – Она – вампир, просто очень вежливый.

- Слушай, а ведь точно! – обрадовалась Рада. – То-то при ней всех на летучих мышей потянуло!

Она еще что-то говорила о том, каково это, жить одновременно в этом мире и на его изнанке, и что здорово, наверное, вот так устроиться на старости лет с книжной лавкой, отличное прикрытие для того, кто просыпается поздно и работает, когда хочет. И допивает чай за гостями по средам, подумал он, а вслух сказал:

- Слушай, я здорово вымотался с этим английским. А мне еще рисовать сегодня. Зайдешь на кофе? Если нет, я просто работать пойду.

- Иди уж, полиглот, - смилостивилась Рада. – Вечером-то на море пойдешь?

- Как работа пойдет, - честно отозвался Игорь. – Если пойдет – не пойду.

- Дракона моего доделай, - велела Радка, но совсем не зло.

- Доделаю, - пообещал он.

До темноты оставалось еще пара часов, и он, едва зайдя домой за сангиной, сразу отправился к заброшенному дому, их в центре было великое множество. При коммунистах город получал множество субсидий, деньги текли рекой, а когда этот поток иссяк, оказалось, что половину строек продолжать бессмысленно, а ремонт и вовсе не на что делать. Городские виллы, оставленные владельцами, медленно рушились в дичающих палисадниках, стены и окна завивал плющ, а этажи делили между собой кошки и голуби. Этот дом Игорь присмотрел давно, у него рухнул деревянный мезонин, сквозь лестницу проросли молодые ясени, но одна стена на втором этаже, хорошо освещенная на закате, была на диво белой и гладкой. Ее, конечно же, пометили граффитисты, но их творчество выгорело за лето, а новых надписей пока не появилось, и Игорь давно подумывал, не сделать ли там что-нибудь эдакое.

Сангина отлично ложилась на сухую штукатурку, к темноте основной контур был намечен. Игорь отошел, насколько позволяла сохранность пола, оглядел работу – и поехал в строительный за краской. Тут акрил нужен был ведрами.

Ночью разразилась гроза, небо стонало и вздрагивало, но дождь обошел город стороной, и с утра Игорь помчался к своей стене. За день сделал подмалевок, наметил крылья и подкрасил фон. А вечером принес и оставил в зарослях под лестницей небольшую стремянку.

Он работал еще четыре дня, несмотря на духоту днем и срывающийся к вечеру дождь. Рада пыталась вытащить его хотя бы погулять, но он ссылался на внезапный срочный заказ, и выбирался к морю только к вечеру, когда купаться уже холодновато, и они пили вдвоем вино на пляже, глядя, как луна заливает серебром всю бухту от края до края, так что море становится светлее неба. Про свою фреску он ничего Раде не говорил. Он вообще никому о ней ничего не говорил.

Весь пятый день он провозился с чешуей и деталями на морде и крыльях. Дело стремительно шло к концу, от светового дня оставалось еще часа четыре, когда над головой внезапно начало темнеть. Огромная туча навалилась на город, в ее сизом брюхе утонули невысокие башни, Игорь

спешно доделывал фреску, но так и не успел. Дождь сорвался разом, мгновенно превратившись в отвесный поток в воздухе и в реку - на мостовых. Но он все равно еще минут пять стоял и смотрел, как темнеет от воды штукатурка, как нарисованный дракон сливается с темным фоном, так что становится непонятно, где рисунок, а где дождь. А потом собрал кисти и краски и вброд пошел к дому.

Ливень превратился в настоящую бурю. На крышах дребезжала черепица, стекла гудели под напором ветра и дождя, деревья пластались по ветру, как белье на веревках. А в небе крутило, громыхало и сверкало, и с каждым раскатом город будто приседал и вздрагивал, и хуже собак выла сигнализация в машинах. Игорь лежал под двумя одеялами и никак не мог согреться.

- Ты почему не отвечаешь на звонки, ирод! – Радка ворвалась к нему в мансарду, размахивая мобильным и осеклась, увидев на кровати плотный кокон из одеял. - Эй? Ты там жив вообще? Два часа дня!

- Не очень, - отозвался Игорь, опасливо шевелясь. Все тело болело, как после тренажерного зала или жесточайшего гриппа. – Кажется, я простыл вчера. Вымок, вот и...

- Чудовище, - нежно сказала Радка и взялась ставить чайник и мыть брошенную в раковине посуду. Игорь кое-как выбрался из кровати и попробовал пройти от спальни к кухне. На полпути пришлось сесть. Зрение немного плыло, поэтому источник странного блеска на рабочем столе он определил далеко не сразу. И даже когда подошел, взял одну из монет и покрутил в пальцах, удивляясь тому, какая она тяжелая, все еще не мог понять, что это такое. И только когда Рада из кухни крикнула: «А как твой заказ?» - он наконец сообразил, что к чему, быстро накрыл монеты листом крафта и ответил:

- Закончил. Вчера еще. Заказчик забрал уже.

трансформация

Третий раз, - говорит джезва, - третий раз за день, ну что за кривые руки, а.

Слушай, - говорит кофе, - я тут уже по всему столу мимо банки, но я же молчу. Подумаешь, опрокинули тебя разок. Ну да, он неловкий, ну что поделаешь. Кодеин не надо жрать пачками, - говорит джезва, - тогда и руки трястись не будут. И мыть меня хотя бы иногда.

Нет уж, - говорит раковина, - пока меня не прочистят, никакого мытья. У меня на дне два ножа и три ложки, и все под культурным слоем, скоро жизнь заведется. Еще один слой кофе я просто не выдержу.

Что значит никакого мытья, - говорит лестница на второй этаж, - да он уже два раза поскальзывался, еще раз расплещет что-нибудь, загремит с концами, никакой кодеин не поможет.

Просто неловкий, - говорит кофе. - Ну и не спал двое суток, тоже надо учитывать. Уборщицу пусть заведет, - говорит лестница, - сколько можно, неудивительно, что в таком бардаке…

Не надо мне про бардак, - кричит рабочий стол из студии, - вот только не надо мне про бардак, ладно?

Это не бардак, - говорит коробка красок, - это творческий беспорядок. Вон же на планшете как чисто, и палитры все вымыты, а где ультрамарин?

Под столом, - мрачно отзывается ультрамарин и добавляет не без сарказма: - Еще с позавчера.

Долго мне тут еще лежать, - говорит лист акварельной бумаги, - я спрашиваю, долго мне еще лежать в этой луже, я же раскисну, у него голова на плечах есть вообще, нет? Мне мокро, мокро, мокро!

Чшш, - говорит малярная лента, - вот я тебя сейчас, не рыпайся. Лежи ровненько.

Опять! - кричит джезва, - он опять поставил меня на плиту и ушел!

Ха, - говорят жалюзи на южном окне, разворачиваясь, - работа!

Меня! - хнычет большая металлическая линейка, - нужно взять меня! Тебе обязательно нужно взять меня, у тебя ничего не получится, почему он меня никогда не берет, а? Граждане, это же нечестно, я же самая ровная на свете, как так можно, а.

Замолчи, - говорит тюбик с белилами, - просто замолчи, ладно? Черт, опять он меня смахнул со стола.

Тихо вы, - говорит большой флейц, - сейчас начнется.

У него все падает и руки трясутся, - говорит синтетическая нулевка. Она в студии новенькая, ее только сегодня принесли из магазина, она скептически смотрит на "художественный беспорядок" на столе. - Меня вообще нельзя такими руками брать, я вам не температурный самописец.

Тихо, - снова говорит флейц. - Он сейчас начнет превращаться.

Он сейчас будет с шишкой на затылке, - говорит стол, - за ультрамарином полез. Ай! Ну, что я говорил? Кодеин еще остался там, нет?

На сегодня хватит, - говорит блистер. Он израсходован наполовину и лежит между феном и большим монитором. - Должно хватить.

Зачем меня менять, - говорит вода в глубокой миске, - я же чистая, ну, самую малость зеленая.

Все замолчали, - говорит ультрамарин и давит жирную каплю на палитру. - Кобальт, ты со мной? Где охра? Давай сюда. Поехали.

Как это, - говорит нулевка, - как это, у него что, по шестому пальцу отрастает? Как он это делает?

Кто-нибудь знает текст «Heart of courage»? - спрашивает Гугль, - не могу найти. Тихо, - говорит флейц, - потом поищешь. Не мешай колонкам, лучше звук добавь. Смотрите, смотрите, вторая пара рук.

Не могу смотреть, - говорит стол, - он мне этим хвостом своим чешуйчатым все ножки пообббивал.

Долго еще? - говорит лист, - я что-то подсыхаю. Потерпи, - говорит ультрамарин, - где нулевка? Была же, сегодня же купили? Ай, - пищит нулевка, - он меня облизывает! У него язык раздвоенный! Эй, я хочу обратно в магазин, я…

Макайся, - говорит сепия. - Макайся и работай. Умница. Хорошую кисть купили. Вон как славно пошло.

Эй, я ничего не вижу, но мне щекотно! - хихикает лист. - Ой, а фен-то зачем? А вот увидишь, - говорит фен. - Я вот отлично все вижу. Хорошо получилось. Ну что, фиксатив или рано еще?

Самое время, - говорит флейц. - Ну вот, уронил. Жалко, что хвост уже пропал, им хорошо баллончики из-под стола выкатывать. Это что, стемнело уже? Ага, - говорят жалюзи. - Закругляйтесь.

Эй, ну что там, что там? - спрашивает лист. - Я же ничего не вижу! Сейчас! - говорят жалюзи и сворачиваются. За окном темно, в свете настольной лампы отражение в окне четкое и яркое.

А ничего так, - говорит лист. - Симпатично. А он всегда так дымится, когда превращается? Вам не страшно вообще?

Мы привыкли, - говорит флейц.

Башня кривая, - ворчит линейка. - Надо было меня брать, то же мне, художник.

Чучело, - ласково говорит гугль и показывает картинку. - Эта башня последние двести лет кривая, сваи просели. Хорошие сваи, лиственничные, хотите, расскажу, как их вбивают в ил?

Всезнайка, - ворчит линейка и отворачивается насечкой к стене.

Не горюй, - утешает ее монтажный нож. - Он потом паспарту резать будет, много будет резать, и все по тебе. Не горюй.

Ну, молодец, вспомнил, - говорит джезва. - Твое счастье, что ты еще и плиту забыл включить.

В кладовке стоят женские босоножки. У них оборван ремешок, их не взяли, и они молчат. Только смотрят на чистое пятно в пыли на полу. Чемодан уехал, и поговорить босоножкам не с

кем. Может, все-таки он когда-нибудь отнесет их в ремонт, полгода обещает, может все-таки отнесет.

дракон

Одно хорошо: ест он, кажется, все, ну то есть все, что пахнет едой, он вообще неприхотлив в этом смысле - сахар так сахар, колбаса так колбаса. Свиристит радостно и утробно на все подряд, чирикает, как целая птичья лавка. Это он отогрелся и теперь доволен, а когда я подобрал его, мокрого, грязного, с рваными дырами в зеленых крыльях, он шипел, плевался искрами и норовил укусить за палец.

Он свалился мне под ноги, скатился с неба верхом на голубой молнии, от его усов и гривы пахло мокрой паленой шерстью, я даже не сразу решился выудить его из лужи - я терпеть не могу голубей, особенно в таком виде, будто поджаренных молнией на лету. Ливень как раз вознамерился стяжать себе славу потопа, вся Петроградская сторона тонула в пенном потоке воды, сквозь него осторожно пробирались сразу ставшие неуместными автомобили, их габаритные огни означали ватерлинии, а на лицах водителей читалось недоумение и неуверенность. Я давно уже вымок с головы до ног, шлепал босыми пятками по лужам, и Владимир-на-Мокруше одобрительно поблескивал мне тусклым крестом сквозь сплошную пелену дождя. Молния прошила небо, прошла сквозь дождь стремительным ударом, клюнула в мокрую траву у самых моих ног. Я отскочил, а из травы раздалось громкое и злобное шипение - он бил крыльями, выгибал шею, раздувал крохотные ноздри и скалил четыре ряда белых щучьих зубов, а я стоял и таращился на него, словно никогда в жизни не видел драконов с голубя размером, в желто-зеленой чешуе и отвратительном настроении.

Я принес его домой, злого, дрожащего, икающего от холода и унижения. За полчаса пути я был искусан весь, кожаный рюкзак, в который я его в итоге засунул, нехорошо дымился и еле дотянул до моей Четырнадцатой линии. Дома он немедленно уселся в старый "стетсон", повозился, поворчал, прожег две дыры в фетровых полях, успокоился и заснул. Через час проснулся, долго и тщательно чистился, шипел на любопытствующих кошек - младшая все пыталась потрогать его лапой и едва не лишилась усов, - а потом принялся стаскивать в свою шляпу разный блестящий хлам - обрывки цепочек, немецкие и израильские монетки из глиняной миски на холодильнике, стеклянные бусины, даже куски латунной проволоки и фольгу от шоколадки. Обсохнув и устроившись так, как ему хотелось, он немедленно сменил гнев на милость, зачирикал, запищал на все лады, словом, потребовал есть.

Вот только накормить его, несмотря на всеядность, оказалось тяжеловато. Он так и пищал весь день, что бы я ему не подсунул - хотя съедать съедал, не капризничал. И тогда ближе к вечеру я скормил ему свой страх высоты - подумал, на что мне эта штука, совсем ведь я ею не пользуюсь, чего уж тут. Он съел, облизнулся и разом вырос, с колбасы у него так не получалось, даром что докторская, вполне себе приличная колбаса. Я отойти не успел, как он вслед за этой мелочью выудил из меня радость запаха лип - подцепил птичьим когтем и выудил, ловко так, почти незаметно, я даже не почувствовал ничего, а когда почувствовал, подумал, ладно, что ж, если ему так голодно. Он, может, никогда не знал, не думал даже, как они пахнут в июле на весь город, особенно после дождя, ведь и запел после этого как-то по-особенному, веселее и осмысленнее как-то. У меня этих радостей - вагон и маленькая тележка, что ж я, не смогу дракона накормить, вон какая радуга на полнеба, чем она хуже липового духа...

И снова он что-то съел, а что - не помню уже, не успел определить, тоже мелочь какую-то, оно и к лучшему, что не помню, хотя неуютно немного: как это, всю жизнь у меня была эта кроха, а теперь нет и просто пустое место, а будто темное пятно на обоях от снятой и унесенной фотографии - невыгоревший прямоугольник памяти, которой уже не существует, да что вы, когда это было, о чем это вы говорите.

Теперь он не помещается в шляпу, торчит хвостом и птичьими когтистыми лапами наружу, щурит на меня желтые веселые глазки с вертикальными черными щелями в никуда и, я уж чувствую, примеривается когтем ухватиться за что-нибудь еще, что-нибудь по-настоящему

крупное, а когда ухватится, дернет на себя, вцепится острыми иглами-зубами, и блеснет это нечто слабым слюдяным блеском в его золотистой пасти - и, тогда-то я, может, узнаю, есть у меня душа или выдумки все это, выдумки досужие и суета.

в парикмахерской

Она вошла в парихмахерскую, сильно брякнув дверным колокольчиком, и видно было, что звук этот доставляет ей немалое удовольствие. Перевалилась колобком через порог и встала, важно покачиваясь с носка на пятку. С виду было ей года четыре с половиной, парихмахерскую эту она знала столько, сколько себя помнила, то есть уж немалый срок, а потому держалась хозяйкой.

- Маша! – выкрикнула из-за зеркала и клиента мастер. – Что ты здесь делаешь? И кто тебя одевал?

- Я сама, - величественно сообщила Маша. – Я к тебе пришла.

- Как – сама? А Сергей что?

- А Сергей спит. А я вызвала пожарных.

Ножницы брякнули об пол. Соседки справа и напротив разом выключили фены.

- К-как пожарных? Вызвала? К нам? – Мать кинулась к дочери и принялась тормошить ее, видимо, выискивая опаленные места на шубке и ярком рюкзачке за плечами. – У нас что – пожар? А Сережа...

Не договорив, она кинулась к телефону.

- Ну нету у нас пожара, я бы не пришла, если бы у нас пожар, - рассудительно заметила девочка. – Я бабушке хотела позвонить. И случайно вызвала пожарных.

Мать уже в три рывка накрутила диск и кричала в черную трубку:

- Сергей? Сергей, как она у тебя ушла? Ты знаешь, что она пожарных вызвала? Ты знаешь, сколько это стоит сейчас - ложный вызов? Я тебе посплю! У меня нет таких денег, ты слышишь, я хотела бы знать, кто будет это оплачивать, когда они приедут! Я т-тебе покажу «сплю»! Я т-тебе!..

На другом конце провода сонный тинейджер, замученный ночным интернетом, миролюбиво бормотал «да что ты, мать, они б уже сто раз приехали, если б она правда вызвала, ее, наверное, Тетьдаша выпустила, ма-ать...» - и прочие бессвязные оправдания, когда важная Мария с опытностию всех своих четырех с половиной басом успокоила родительницу:

- Ну, мама, ну ты совсем глупая какая-то. Я же им адрес и телефон не дала.

Мать без сил опустилась в продавленное кресло у администраторского стола. Черную трубку телефона она сжимала крепко, как спасательный круг.

- Не дала? – жалко, словно не веря в очевидное чудо, переспросила она.

- Конечно же, нет. Они спрашивали, спрашивали, а я трубку повесила и все. Ты сама мне говорила.

- Уф, Машка, ты меня раньше времени в могилу вгонишь! Чертовы детишки... – Мать готова была уже рассмеяться, - вместе с администратором, мастерами и клиентами, которые в продолжении всего разговора еще как-то сдерживались, а теперь хохотали в голос, - но посетительница быстро призвала их к порядку.

- Я вообще не за этим пришла! – хмурясь, громко заявила она и выдержала эффектную паузу, давая всем возможность проникнуться серьезностью положения.

- Так что случилось? – опять побледнела мать.

Девочка надула губы, стащила с плеч цветастый рюкзачок и протянула матери.

- Мне соседский Димка, - сказала она тоном прокурора, - кота в рюкзак засунул. И узел затянул. И я развязать не могу.

- Ияууу! – жалобно и тонко провыл рюкзак и дернулся.

после всего

Я проснулся позже всех и у меня волосы как перья - светлые, мягкие и торчком, поэтому меня зовут Серая Сова. Я сказал, что это не очень-то имя, но Зои сказала, что был такой индеец, книжки писал. Она говорит - хорошие.

Настоящего своего имени я не помню. У нас не все помнят. Зои - помнит, бабушка Агата - помнит. Что Рона зовут Рон - знала Зои, а потом он и сам вспомнил, Рональд, вот как. А меня, Молчуна и Ёжика назвала Зои. Ежику семь, но две трети своей жизни она провела в больнице, после последней химии у нее едва-едва отросли волосы, они и правда торчат, как очень мягкие колючки. Ежик почти не говорит и все время прячется за бабушку Агату. А Молчун пришел на второй день откуда-то снизу и первые сутки вообще не сказал никому ни слова, только смотрел на все совершенно круглыми глазами. Это мне Зои потом рассказала.

Когда я первый раз вышел к Дверям, я чуть не умер от ужаса. За ними был ад. Настоящий, как в кино. Я не очень отчетливо помню, но в каком-то кино я точно это видел: плотная туча летящего пепла, спекшаяся, оплавленная земля, и до самого неба - не то туман, не то песок, то серый, то рыжеватый. Центральные двери нашей больницы стеклянные от пола до потолка, можно все разглядеть очень хорошо. Хотя, если честно, смотреть было особенно не на что. За три шага от дверей было уже не различить ничего, кроме серого или рыжего марева.

Конечно, мы пытались понять, что случилось. Как так произошло, что мы все очнулись в пустой больнице один за другим. Что произошло снаружи. То есть что произошло снаружи, было более-менее понятно: катастрофа. Но вот что было до этого? Всю клинику куда-то эвакуировали, а нас, как самых тяжелых, решили везти в последний момент - и не успели? Не нашли транспорт? Не так-то просто перевозить впавших в кому. Или просто бросили, как безнадежных? Понятно, что во время удара больница каким-то образом запечатала сама себя, хотя я про такое только читал в фантастических романах. Но, с другой стороны, последние шесть лет я пролежал в коме, за это время могли изобрести все, что угодно. Поэтому меня не очень удивляло, что есть свет, вода и воздух, что работают все системы, что мыться можно хоть десять раз в день, а в кухонном блоке в морозильниках полно еды. Только телевизор не работает, да и бог с ним.

Удивляло другое: как нам удалось очнуться? Когда проснулся я, я уже просто лежал на белой кровати, чистый и умытый, бабушка и Зои постарались, а Зои рассказывала, что ей пришлось самой выпутываться из проводов и трубок. Она вообще была в сознании глубже всех - можно же так сказать? Если бывает глубокий обморок, может быть неглубокое сознание? Потому что в каком-то сознании я все-таки был. Я кое-что помню, хотя и смутно, это как будто выныриваешь ненадолго с очень большой глубины, и тогда слышишь голоса над собой. Хоть и не всегда понимаешь, что они говорят. Зои помнит гораздо больше.

Самая старая у нас бабушка Агата, потом Рональд, потом Молчун, потом Зои, потом я, потом Ежик. Но Зои в сознании глубже всех. Я буду так говорить, потому что не знаю, как сказать иначе. Это она дает имена, потому что ей нужно называть тех, с кем она говорит, даже если они не отвечают, это она так сказала. Это она задает вопросы и ставит эксперименты. "Вы заметили, что мы совсем не хотим есть? Я попробовала не есть сутки и даже не проголодалась. А в туалет кто-нибудь из вас хоть раз ходил?"

Я ходил. Даже не один раз - вечером первого дня и утром второго. И есть я действительно не хочу. Сначала было очень приятно сгрызть яблоко или банан, съесть кусок жареного мяса - я никогда не ел мясо вот так кусками, с ножом и вилкой, только парное и протертое. А потом, на четвертый день или третий, особенно после вопросов Зои, заметил, что хватаю с утра из холодильника банку йогурта - и забываю съесть что-нибудь еще. Я даже думал, не рассказать ли об этом Зои, но понял, что она не спрашивает на самом деле. Ей не нужно, чтобы мы отвечали, ей просто так легче думается.

Так что я не отвечаю, потому что понимаю, как на самом деле, Ежик - потому что не понимает вовсе и стесняется, а вот Молчун и Рон охотно обсуждают с Зои все происходящие с нами странности. Бабушка Агата только вздыхает: "Как они могли нас бросить, ну как? Как же так можно? И что нам теперь делать? У меня скоро сердечные капли закончатся, где я новых возьму?"

"Лучше спросите, что мы будем делать, когда закончатся вода, еда и воздух", - замечает Рон не без ехидства. Мы все сидим в комнате с телевизором и диванами, которую называем гостиной, как будто это и вправду наш дом, мы сидим здесь все вместе каждый вечер. У меня, Зои, Молчуна и Рона - отдельные палаты, а Ежик перебралась к Агате, мы еще нашли им маленький диванчик и торшер, чтобы было уютнее. И стащили на диванчик все детские книжки, которые нашли в клинике. Ежик прочла их каждую уже раз по десять, но ей не надоедает.

"Вода и еда нам явно не нужны, - замечает Зои. - Бабушка Агата, а зачем вы пьете эти капли? У вас болит сердце?"

"Всю жизнь пила, - отзывается Агата и смеется. - Пью - значит, жива. Нет, сердце не болит. Даже поясница не болит. Но будет очень обидно, если я перестану пить, а оно вдруг возьмет и остановится, понимаешь? Со мной уже один раз так было, и я не хочу повторения."

"Как же все-таки получилось, что мы все взяли и выздоровели?" - спрашивает Зои как бы про себя.

"Я думаю, это радиация, - говорит Рон очень авторитетным тоном. - Как-то она на нас повлияла. Никто же толком не знает, как могут встряхнуть организм стресс и радиация."

"То есть радиация все-таки сюда проникла?" - уточняет Зои.

"Ну да."

"Но мы тут герметезированы, как в бункере. Клиника схлопнулась сразу, автоматически, как ракушка. Р-раз и все. В наши двери можно теперь только смотреть, ни войти, ни выйти."

"Я не знаю, Зои, - говорит вдруг Молчун очень мягко. - Я знаю, что был мертв, а теперь жив, и мне, признаться, все равно, каким образом."

Вот так наши разговоры и крутятся, как бабочки вокруг фонаря, вокруг одной и той же темы, целых шесть дней.

А на седьмой день идет дождь. Он идет весь день и всю ночь, сплошной стеной, он прибивает пепел и пыль, и на утро восьмого дня идет тоже, но теперь он совсем другой, сквозь него бьет солнечный свет. Я вспоминаю, что кто-то в моем детстве называл такое "слепой дождик". И что после него всегда бывает радуга.

Каким-то образом мы все, не сговариваясь, оказываемся в холле. В наших палатах все окна и балконные двери забраны стальными жалюзи, они, видимо, опустились, когда клиника схлопнулась, как ракушка. Но большие входные двери толстенного стекла не закрыты ничем, по ним мы следим смену дня и ночи, и в них смотрим сейчас, как зачарованные, на мелкий слепой дождик и золотой свет сквозь него.

Мужчины переглядываются и притаскивают из угла холла большущий длинный диван, мы все садимся на него и смотрим на дождь. А потом он проходит и остается только мокрая земля, твердая и блестящая, и капли, стекающие с карнизов клиники. Но мы все равно сидим и смотрим на невероятно синее небо. Мы, наверное, уже и не думали, что увидим его, столько пепла носилось в воздухе.

Поэтому мы не сразу слышим звук, долгое, тихое шипение. Он разносится отовсюду, длится несколько минут, а потом стихает. И я понимаю, что слышу запахи. Влаги, мокрой земли. Те, которые бывают после дождя.

Я встаю с дивана, Зои сразу встает за мной, мы очень медленно идем к дверям. Потом смотрим друг на друга и изо всех сил тянем на себя одну створку. Она открывается, и в холл врывается такая невероятная свежесть, что какое-то время я стою и только дышу. Дышу изо всех сил.

А потом раздается новый звук, уже снаружи. Он низкий, тяжелый, как гудение огромной органной трубы, он нарастает и ширится, я чувствую его всем телом, от него начинают дрожать стены клиники, от него дрожит даже спекшаяся в камень земля, я изо всех сил держусь за большой поручень на двери, Зои точно так же хватает ртом воздух рядом со мной, чуть пригнув голову и держась за поручень. Гудение сносит нас с ног, как ветер, и стихает, когда мы уже думаем, что не вынесем больше ни секунды этого звука.
И на стихающем звуке приходит свет.

Это не солнечный свет, это огромный золотой пологий поток, как бывает с солнечными лучами на закате, и я почему-то думаю о луче из тарелок инопланетян, по которому они

спускались и поднимались. А еще которым они похищали людей. Но тут не один такой луч, их множество, они как бесконечный дождь из света, и этот дождь теплый, самый теплый и ласковый дождь на свете.

Мы с Зои, все еще вцепившись в поручень, стоим и видим, как мимо нас молча проходит бабушка Агата, она несет на руках Ежика, и лицо у нее при этом такое, как будто ничего плохого больше не будет никогда. На ступеньках она оборачивается, говорит: "Спасибо, мои хорошие", и я вижу, что по щекам у нее текут слезы, очень мелкие и быстрые, и дорожки от них светятся так же ярко, как золотой пологий свет. Она крепче прижимает Ежика, Ежик крепче прижимает к себе самую любимую книжку, и они уходят, растворяются в золотом свете, скрываются за ним, как за стеной тумана.
Мимо меня проходит Молчун, кивает нам и проходит мимо, подставляя лицо потоку, чуть ли не ловя его губами. Я оглядываюсь: рядом со мной стоит Рон и с беспокойством смотрит на нас.

- Ребята, вы идете? - говорит он.

- Ага, - говорит Зои, потому что я не могу выдавить из себя ни слова. - Ты иди, мы чуть позже.

Он кивает, как Молчун, и тоже уходит в поток. Зои отцепляется от поручня, делает за дверь два шага и опускается на ступени крыльца, согнувшись и стиснув себя руками.

Я сажусь рядом и говорю:

- Ты чего?

Она поднимает голову, и я вижу, что она плачет, только у нее на щеках дорожки совсем не светятся.

- Я думала, что Его нет! - кричит она. - Я думала, что Его нет, а Он есть, и теперь вот это все! - Она тычет пальцем в спекшуюся землю. - И я всю жизнь только сама, сама, сама, и ты посмотри, чем кончилось! И это при том, что Он есть? Да Он последняя скотина после этого!

- Ты чего, - говорю я снова, опешив, потому что я никогда не видел, чтобы Зои кричала и размахивала руками. - Ты чего, все же хорошо. Смотри, все уже ушли. Может, и мы пойдем?

Мне немного страшно этого золотого света, но все-таки очень хочется подойти поближе и хотя бы потрогать его руками. И, может быть, войти, если он теплый.
- Да как я к Нему пойду? - говорит Зои, уже немного успокоившись. - Я не могу к Нему сейчас идти. Я буду плевать Ему в лицо, пока меня не оттащат все Его ангелы или кто там у Него. - Она сжимает кулаки и говорит с прежней яростью: - Буду плевать, пока слюна не кончится. Как Он мог так поступить с нами? Кто угодно, только не Он.

Я какое-то время просто сижу молча, прижавшись плечом к ее напряженному плечу. А потом говорю:

- А куда мы тогда пойдем? Нужно же все-таки пойти куда-нибудь.
Зои вдруг встает. И говорит:

- Мы пойдем к морю. Я думала, что больше никогда его не увижу. И я хочу его видеть гораздо больше, чем Этого. - Она дергает подбородком в сторону золотого потока. Потом смотрит на меня. - Пойдешь?

- Пойду, - говорю я. И добавляю: - Только я даже не знаю, в какую сторону идти.
- На юг, - говорит Зои. - Мы пойдем на юг. Эта штука должна указывать на восток, так всегда бывает, значит, юг вон там. Если идти на юг, рано или поздно придешь к морю.
- А если она не с востока? - смеюсь я. - И мы пойдем совсем не туда?

- Рано или поздно придем. Будем идти, пока не придем. Ты забыл? Мы теперь мертвые, нам все можно.

Я киваю, мы огибаем здание больницы так, чтобы поток света оказался слева. Когда-то вокруг всего комплекса был большой парк, я видел его мельком, когда меня привезли сюда, но сейчас на мили и мили вокруг нет ни единого деревца, и горизонт просматривается очень хорошо. Я тяну носом воздух и мне кажется, что я слышу запах моря. Мы встаем боком к свету, лицом к горизонту, - и идем к морю.

Вокруг меня всегда очень тихо. Может быть, поэтому она пришла именно ко мне.

Когда мне хочется разбить тишину, я вытягиваю губы трубочкой и издаю тонкий свист, который слышат только собаки и летучие мыши, но ближайшая собака живет тремя этажами выше, а летучих мышей в нашем доме нет.

И когда она появилась у меня на лестничной площадке, я вытянул губы и присвистнул - такая тощая и жалкая она была с виду.

- Не кричи, - сказала она, недовольно морщась. - Могу я войти? Я хочу есть и пить, а у тебя полный пакет еды.

Я растерянно взвесил в руке пузатый пакет из универсама и принялся искать ключи по карманам.

- Конечно, - сказал я. - Только у меня не прибрано.

- Ерунда, - сказала она с видом царицы Савской и зашла в дом.

Мы разделили на двоих куриную печенку с картошкой - картошка мне, печенка ей, - она из последних сил залезла на диван, пробормотала "прошу прощения" и заснула на сутки.

Пока она спала, я прошелся по магазинам - мое холостяцкое жилье было совершенно не приспособлено для женщины. Проснувшись, она оглядела мои покупки, фыркнула, но тут же перепробовала все обновки.

- Наполнитель купишь впитывающий в следующий раз, - распорядилась она.- И блох у меня нет, можешь не распечатывать этот зеленый ошейник. А так все хорошо.

Мое утро всегда начинается с кофе, даже если оно начинается в четыре часа дня. Ночью я обычно работаю – переводы, таблицы, платят не слишком много, но это можно делать из дома, а общаться с заказчиком только почтой. За срочность платят больше, и я часто ложусь не когда стемнеет, а когда закончу. После этого мне нужно отоспаться, а, проснувшись, сварить кофе. Не рабочий допинг наспех, который лишь бы покрепче, а настоящий, сваренный на «три воды», с корицей и мускатом.

Она вошла на кухню, как только стихла кофемолка. Я выложил ей еды, она быстро и аккуратно поела, потом молча ждала, пока я не сцедил себе черную жижу в чашку и сел, и только после этого вспрыгнула мне на колени.

- Мне, в общем, только бы отоспаться, - сказала она накануне вечером. - Я поживу у тебя дня четыре?

- Может быть, останешься? - сказал я тогда робко.

- Ну, может быть, - протянула она. - Еще не знаю. Как получится.

А сейчас я прихлебывал кофе, гладил ее по пестрой трехцветной шерсти, чувствуя каждый выпирающий позвонок, и думал, как бы спросить, что она решила.

Но заговорила первой она:

- Ты ведь не станешь спрашивать, как меня зовут? Вы всегда даете кошкам свои имена.

- Не стану. Если только ты сама не захочешь.

- Тогда придумай что-нибудь.

Я рассмеялся и сказал: «Сара, конечно». – «Почему Сара?» - «Потому что Царица Савская».

- А, - сказала она и зевнула. И принялась вылизываться.

Кошки всегда вылизываются, когда не хотят говорить или не знают, что сказать. Точно так же люди начинают теребить на себе одежду, или курить, или чесаться, или разглядывать ногти. Я посмотрел на свои ногти и подумал, не обидел ли ее чем-нибудь, но мы оба промолчали.

Когда я собрался в магазин, она потребовала выпустить ее во двор. «Я скоро вернусь», - сказал я. «Угум», - сказала она и быстро лизнула переднюю лапу. Из подъезда мы вышли вместе, она исчезла за углом, даже не оглянувшись.

Я не должен был этого делать, но я пошел за ней. В спину не дышал, конечно, отставал на один поворот, но в наших проходных дворах легко проследить, куда идет кошка, ведь она всегда останавливается перед каждой подворотней, а их много. Она прошла четыре двора насквозь, пересекла узкую улицу, вошла в арку напротив, нырнула в кусты и исчезла. Этот двор не имел

сквозного прохода, она могла уйти только в подвал. Я огляделся, запоминая место: четыре подъезда, чахлый газон с сиренью и акацией, пять машин на тесном пятачке, единственный тополь и скамейка под ним. Надеюсь, она скажет мне, если у нее тут котята, подумал я.

Я выбрался из двора и на всякий случай зашел в соседний. Так и есть. Один из подъездов , заколоченный с той стороны, был открыт с этой, окна лестницы выходили как раз на двор с тополем. Я поднялся на второй этаж и присел на подоконник. Сара сидела под скамейкой с таким видом, будто была здесь всегда, с сотворения мира. Подожду немного, подумал я.

Мы ждали около трех часов. Уже начинало темнеть, когда Сара зашевелилась под скамейкой. В арку стремительно вошла молодая женщина с двумя набитыми пакетами в руках. Сара высунула нос, следя за ее проходом через двор, проводила взглядом до самого подъезда, но выходить не стала. В квартире на втором этаже зажегся свет, в открытое окно кухни донеслось звяканье посуды, а через несколько минут запахло горячим маслом. Сара вскочила на скамейку, чтобы разглядеть окна получше. Хозяйка хлопотала на кухне, даже, кажется, что-то напевала. В кухню вышел мужчина, подошел к ней и обнял со спины. Сара соскочила на асфальт и ушла со двора.

Когда я вернулся с продуктами, она уже сидела у моих дверей, тщательно умываясь.

Поздно вечером она пришла ко мне на письменный стол и заглянула в монитор.

«Что ты делаешь?» - «Перевожу. С английского на русский.»

Я видел, что она удивлена и заинтригована.

- Переводишь людей для людей? Бедный. - Она даже слегка боднула меня в плечо в знак сочувствия.

Я поспешил ее утешить.

- Ну, что ты. Я же не вижу тех, кого перевожу и тех, для кого перевожу. Мне не нужно жить в двух мирах, как вам. Для вас это вопрос жизни и смерти, а для меня – только заработка.

- Но ты все равно знаешь, - возразила она, спрыгнула со стола и ушла на кухню.

Кошачье племя – прирожденные переводчики, они живут на границе между "есть" и "могло бы быть", видят оба мира разом. Любой котенок очень быстро учится слышать разницу между тем, что люди говорят и что имеют в виду, потому что под самым простым «кис-кис-кис» может скрываться все, что угодно, от «иди сюда, я тебя покормлю» до «у меня есть консервная банка, и я хочу привязать ее к твоему хвосту». Те, кто не учится, просто не выживают.

Я закончил главу, встал из-за компьютера и вышел сварить себе кофе. Сара умывалась на диване.

- Извини, что я спрашиваю, - сказал я. – Но ты... ты пыталась переводить людей для людей?

Она продолжала тщательно мыться. Но в конце концов ответила:

- Я просто ушла.

Каждый день в одно и то же время она просила ее выпустить. Я знал, куда она ходит – встречать хозяйку. Иногда она пропадала на день или два, и я не находил себе места. Иногда ходил вслед за ней и видел ее во дворе, под неизменной скамейкой. Иногда не видел. Однажды, сидя на своем посту в подъезде, я не дождался Сары, но дождался ее хозяйки. На скамейке сидела бабушка, она приветливо кивнула соседке:

- А я тут давеча вашу Глашеньку видела, прям вот тут, под скамейкой, - сообщила бабка сладким голосом. – Сидела она тут, сидела, а как Игорек-та начал тебя снова честить на все лады, так она и ушла. Я ей кис-кис, иди домой, а она – в подворотню, только ее и видели.

- Бабаваля, - устало сказала женщина, - сколько раз я вас просила.

- Да что «бабаваля», - беззлобно огрызнулась бабка, уже ей в спину. – На весь двор же орал, дармоед несчастный, глухим надо быть, чтобы не слышать, согнала бы ты его, не пара он тебе, или хоть подстричься бы заставила, что ли, взрослый мужик, а патлы, как у хиппи, простихоссподи... Вот видела бы это твоя матушка-покойница, царствие ей небесное, мученице...

В другой вечер и я стал свидетелем такого скандала, действительно, кричали они на весь двор, ссорились самозабвенно, по-итальянски, с грохотом посуды и плюхами. Я не кошка, но даже мне было понятно, что оба берут силы в этих ссорах. Я уже собрался уйти, как вдруг увидел, что длинноволосый Игорь выскакивает из подъезда, бранясь себе под нос: «У-у, ссука, дура гребанная.» В открытое окно вылетела спортивная сумка, от удара об асфальт на ней лопнула

молния, вывалились какие-то тряпки. Игорь подобрал сумку и еще минут пять кричал в окно бессвязные ругательства. Наконец он ушел, а во двор вышла хозяйка Сары. Она принялась обходить кусты, повторяя «Глаша, Глашенька». Голос у нее был заплаканный. Обшарив двор, она ушла в соседний, громко призывая свою кошку, и я поспешил домой. Сара не появилась – ни тем вечером, ни через день, ни через три дня.

Я увидел Сару только неделю спустя. Как ни в чем не бывало, она сидела у моей двери. «Зайдешь?» - спросил я. «Зайду», - с достоинством ответила она. Но переночевав, ушла снова.

Я сам начал ходить в тот двор и сидеть в нем часами. Работа не клеилась, я брал только мелкие тексты, от которых спешил отделаться. Меня спасал опыт и привычка к тому, чтобы всегда «быть на хорошем счету», в качестве мои переводы не теряли, только в количестве. Я работал по ночам, утром спал, а вечером приходил на свой подоконник. В квартире зажигался свет, тянуло стряпней, пахло размеренной, спокойной жизнью. Сара иногда сидела на окне и щурилась - олицетворение домашнего уюта. Я уговаривал себя, что прихожу убедиться, все ли с ней в порядке. Но когда однажды поздно вечером во дворе появился Игорь, все с той же набитой сумкой, подстриженный и чисто выбритый, я признал, что лгал себе все эти дни.

Блудный сын был принят без возражений. Я просидел на подоконнике почти до утра, но ничего не дождался.

Сара появилась у меня через два дня, грязная и взъерошенная. Несколько дней она только спала и ела, а когда я ее гладил, то чуял самый скверный запах, который может исходить от кошки: жирной влажной земли и свалявшейся шерсти. Так кошки пахнут, когда собираются умирать. Все это время она молчала, я тоже не донимал ее расспросами. Но на радостях делал по десять страниц в день.

Когда скверный запах исчез, Сара снова попросилась на улицу. Я выпустил ее и пошел следом.

Она не стала забираться под скамейку, а села прямо в темном проеме подъезда, и сидела так до тех пор, пока не появилась хозяйка. Та поставила на асфальт пакет и молча уставилась на свою кошку. Сара ждала.

- Явилась? – наконец произнесла хозяйка. Сара встала и неловко потерлась о ее ноги.

- Все вы меня ни в грош не ставите, - сказала хозяйка. – Горазды стали приходить и уходить, когда вам хочется.

«Ты бы это не кошке говорила, - подумал я. – А Игорю своему. Нашла, на ком твердость характера отрабатывать».

Сара потерлась настойчивее. Но хозяйка была явно не в духе.

- Иди гуляй дальше, - сказала она. – Давай, иди. Нечего тут делать вид, будто я тебе и правда нужна.

Сара села поодаль и лизнула лапу. Хозяйка подняла сумку и прошла в подъезд. Сара неуверенно шагнула за ней, потом развернулась и побежала прочь. Из подъезда выскочила хозяйка с криком «Глаша!», метнулась обратно, звеня ключами, я услышал, как хлопнула дверь, а потом хозяйка вылетела во двор, уже без сумки, и помчалась по дворам, причитая: «Глаша, Глашенька, кошечка моя, ну прости меня, ну, пожалуйста».

Я варю кофе и поглядываю в открытое окно. Что-то Сара задерживается. В соседнем дворе у нее появился ухажер, я очень рассчитываю на котят к концу лета. Я варю кофе и думаю о чувстве любви и чувстве вины. Тогда, месяц назад, Сара пришла еще грязнее, чем обычно. Когда я взял ее на руки, то увидел мелкую россыпь влаги вокруг глаз – кошкины слезки. В первый момент я подумал, что у нее загноились глаза и потянулся к аптечке, но она фыркнула: «Брось, ерунда». А потом добавила: «Я совсем ушла. Я перестала понимать себя и испугалась.»

«Я знаю разницу между чувством любви и чувством вины, - сказала она. – Я знаю ее у людей, знаю у себя. Мы живем тем, что чувствуем разницу между тем и этим. Между «есть» и «могло бы быть». И я испугалась, когда перестала ее чувствовать. Так делают только люди. Я испугалась, что перестану быть кошкой».

Я попытался ее утешить – все-таки я переводчик.

«Люди часто выдают одно за другое, - сказал я. - Потому что с чувством вины иметь дело гораздо легче, чем с чувством любви. И если одно на другое подменили еще в детстве, приходится так и жить – ссорится и мириться, выгонять, уходить, а потом возвращаться, просить прощения и прощать».

«Я знаю, - сказала Сара. – Пусть так будет у людей, я не против. Но ни одна кошка не может позволить втянуть себя в эту игру. Для этого надо быть человеком, говорить на вашем языке и слышать то, что говорят, а не то, что имеют в виду. Я не могла себе это позволить. Дай мне, пожалуйста, поесть».

От нее больше не пахнет землей и сухой шерстью, моя Сара лоснится, по ее пестрой шкурке пробегают искры, когда я ее глажу. Я варю кофе и посматриваю в окно. На лавочке перед подъездом сидит Бабанадя с неизменным вязанием в корзинке. Завидев бегущую домой Сару, она начинает сюсюкать: «Кис-кис-кис, какая славная кошечка зевелась у нас на первом этаже, ты ж моя сладкая. Как он тебя зовет, а? Была бы собачка, звали бы Му-Му».

Сара дергает хвостом, обходит ее по большой дуге и ныряет в подъезд. Я снимаю кофе с плиты и иду открывать.

клуб держателей вымышленных существ

Первый раз увидел объявление на "стенке" в ветклинике, заходил за лечебным кормом для Фигни. Пока ждал очереди, читал все подряд, наткнулся.

«Клуб держателей вымышленных существ всегда рад новым членам».

Подумал: ну ничего себе. И на всякий случай списал адрес, где-то в центре. Второй раз – прямо в городе, мелком на стене: «Ищу пару карликовому дракону, пол не важен, обращаться в клуб держателей вымышленных существ».

А в третий раз увидел, как объявление с крупным кеглем (в глаза сразу бросилось «Клуб» и «существ») отдирает от стены Васька.

Отдирает ожесточенно, тщательно, не просто срывает со стены, а счищает все до последнего клочка. И узнал-то Ваську по сосредоточенному сопению, с которым она делала все важные вещи, прежде всего – рисунки.

Не видел ее уже года три, в общем-то, с тех пор, как она бросила второй курс, а ведь с детского сада были не разлей вода.

- Привет, Василиск, - сказал ей прямо в ходуном ходящие лопатки. - Ты чего это на них ополчилась?

Она подскочила, обернулась – мастихин торчал в кулаке финским ножом, - но почти сразу узнала и, кажется, совсем не обрадовалась.

- Привет, - сказала Васька мрачно и швырнула мимо урны ком бумаги. – Ты их что, знаешь, что ли?

- Да нет. Просто натыкаюсь всю неделю на их объявления, то тут, то там. Уже даже думал проверить, существуют ли они на самом деле.

- Они существуют! – рявкнула Васька. – Чтоб им провалиться!

Предложил:

- Давай я напою тебя кофе, а ты мне расскажешь? Во-первых, я тебя сто лет не видел, а во-вторых, я умираю от любопытства. Ты туда пантеру свою повела?

Пантера у Васьки была с книжки «Маугли» - книжку эту они зачитали едва ли не до дыр, Васька – за приключения, а он – за иллюстрации. Иллюстрации были сепиевые, тонкие, точные, он перерисовал их все до единой, и это был его первый анатомический атлас, и только гораздо позже, уже в художественной школе, он вдруг обнаружил, что они – акварельные.

А у Васьки с тех пор завелась невидимая пантера, и столько, сколько он срисовывал ловкую, сильную фигуру повелителя джунглей, столько раз она рисовала черный поджарый силуэт с буграми мышц на мощных лапах.

Васька дождалась, пока ей принесут заказанный капучино, высыпала коричневый сахар поверх пенки, отхлебнула и почти спокойно ответила:

- Ну да. Ходила вокруг их объявлений всю весну, а потом решила: дай хоть проверю, что за птицы такие. И понимаешь, сначала было так здорово. У них у всех кто-то есть. И почти у всех – с детства, с начальной школы, как у меня.

- Много их там? – спросил, чтобы она не молчала.

- Десяток, может, больше. Раз в неделю собираются, но ходят не все. Там Лисицкий сейчас за главного.

- Который Лисицкий? У которого выставка сейчас в Манеже?

- Ага, он самый. Там вообще звезд много. Я сперва подумала – надо же, прикольно, живые люди, оказывается. Рассказывают, показывают, даже рисунки и повести приносят. Ковалев тоже там.

- Это тот Ковалев...

- Ну да, который «До края мира и дальше» и сериал про звездный десант. Он самый.

Спросил уже с любопытством:

- А кто у него?

Васька усмехнулась.

- У него – манулы. Толстые и важные, как он сам. Баюн и Скарабея. – И, явно передразнивая, прогнусила: - Очень жаль, но котят у них пока так ни разу и не было!

- Ты сперва подумала – прикольно. А потом перестало быть прикольно?

Васька яростно размешала в чашке остатки капучино и выпила залпом.

- Снобы они оказались и жлобы! Я сначала уши развесила, всегда думала – я одна такая, псих, ну и ладно, а тут – целый выводок, и поди назови их психами, у кого - книжки, у кого – фотовыставки, кто – миллионами ворочает, я видела, на какой он машине уезжал. Ну, я на паре собраний посидела, а потом Лисицкий и говорит: а в следующий раз наши новые члены расскажут нам о своих существах, чем живете, как кормите, думаете ли размножать.

- И чего ты? Больше не пришла?

- Щаз! Подготовила доклад, как дура, вышла вся такая собой довольная. Вещаю, как у меня пантера появилась, как я с ней разговариваю, как она возникает рядом всякий раз, когда мне нехорошо, как она меня от ангины лечила...

Васька, Василиса, Василиск, свой парень и талантище, с людьми всегда сходилась крайне тяжело. Вот разве что они были с детского сада попугаи-неразлучники, но на то были свои причины. И пантера была у нее за всех: и за подружку, и за маму, и за любимую бабушку. «Не наступи ей на хвост, - говорила Васька, когда он приходил ее навещать, обернутую ватными компрессами, - она у меня тут всю ночь лежала рядом и сейчас лежит».

Старательно обходил невидимую пантеру, выдавал апельсины и зефир, домашку по математике и физике, слушал глухое ворчание сбоку и жалобы на гнусный отит – из подушек. У Васьки всегда все было всерьез.

Снова спросил:

- Так и чего ты?

- Ну, я изложила, и тут кто-то и мэтров брякает: «А имя ее вы знаете?» Я говорю – нет, мне никогда не нужно было. «А чем же вы ее кормите, неужели только своими бедами и болезнями?» Я такая – что-о? А Лисицкий мне так покровительственно: ну вот же вы сами рассказали, посидеть, обнявшись, пожаловаться, когда плохо, и что, на этом – все? Ах ты ж, думаю. А сама еще вполне вежливо спрашиваю: а вы-то чем своих кормите? И тут их, понимаешь, прорвало. Они, понимаешь, верят, что все, что они делают – это кормит их выдуманное существо. Держатели они, тля! Я говорю – я ее не держу, она мой друг! Ну да, говорит Лисицкий, жилетка и нянька, и вы даже имени ее не знаете, хороша дружба.

Поставил перед Васькой еще одну чашку кофе, она только кивнула. Сказал ободряюще:

- Но ведь ты ее рисовала.

- Давно, - отозвалась Васька. – Я вообще рисовать бросила.

- Совсем бросила?

- Ну, ты же бросил?

- Я ювелиркой занялся. Пока не очень идет, но все-таки идет.

- Правда? - оживилась Васька. – А покажи!

- Потом как-нибудь. Ты дорасскажи, чем кончилось.

- Ну, чем-чем. Я им высказала. Что они тут все лопаются от собственной успешности, а я вообще ни с кем о своей пантере никогда не говорила, не то что задумывалась - а чем ее кормить. Она же выдуманная, кормить! Я ж думала, я хоть кому заикнусь – меня ж в психушку упрячут! Нельзя так с новичками, новичков учить надо, а не мордой по столу возить, ничего себе, «клуб всегда рад новым членам», да подавитесь вы своим членством!

Подумал: сказать ей, что он – это не совсем «ни с кем», но решил, что сейчас некстати.

- Козлы немытые, - закончила Васька и снова залпом допила чашку. Потом посмотрела на него, будто он был самым немытым из них, и тем же тоном поинтересовалась: - А ты что не заходишь? Давно уже не заходишь.

Сказал извиняющимся тоном:

- У меня ж диплом.

- С ювелиркой? – снова оживилась Васька.

Посмотрел на нее и соврал:

- Да. Приходи послезавтра, я тебе покажу. Придешь?

- Приду, - сказала Васька. – А имя ей я придумаю. Назову Лорой. Или Вуду.

Подумал: сказать ей, что имя должно появиться само? – и снова решил, что сейчас некстати.

Но попрощались тепло, и телефонами обменялись, и договорились на послезавтра к восьми у него в мастерской в гараже. Васька ушла, держа кисть на весу на уровне бедра - на загривке своей пантеры.

Посмотрел ей вслед, расплатился, достал записную книжку с адресом клуба. Среда, как раз подходящий день.

Думал: что я им скажу? Наверное, скажу: извините, пожалуйста. Понимаете, скажу я, у меня не было никого, кроме бабушки, со мной никто не дружил в детском саду, мне очень нужно было выдумать себе друга. Понимаете, скажу я, потом пришлось выдумывать ей дом и семью, потому что надо было идти в школу, а домой я ее привести не мог, даже придуманную. Понимаете, скажу я, в последнее время она совсем одичала и отбилась от рук, скажите, пожалуйста, это потому, что я бросил рисунок? А вот ювелирка – василиски же немного драконы, можно будет ее кормить ювелиркой?

фонарь

Давай пройдемся и поговорим.

Вечер, сумерки, снизу от воды тянет особенным, свежим запахом, весной даже река пахнет почти морем, в воздухе вода и йодистый привкус, как будто на пляже размочило приливом ворох сухих водорослей.

Смотри, фонари полетели с берега - красный, желтый, синий... и, кажется, еще синий. Никогда раньше таких не видел? Ну что ты, это настоящее волшебство. Бумажный шар с таблеткой сухого спирта внизу. Всего-навсего бумага, спирт и проволочное колечко, а получается – летящий свет. Представляешь, кто-то долго держал его в руках, грел таблетку, пока она не займется как следует, потом ждал, когда расправится и надуется фонарь, а потом медленно, очень медленно – отпустил его на волю всем ветрам, вот он теперь плывет над рекой, над городом, высоко в небе, яркий, как близкая звезда.
Никого нет на темном берегу, никто не видит фонарщика, никто не знает, для кого этот фонарь был запущен, но все видят звезду, задирают головы, показывают пальцами и кричат – летит!

Давай пройдемся до моста.

Ты мне что-нибудь расскажешь, я тебе что-нибудь расскажу.

Например, о двух девочках. Я их очень удачно придумал накануне - как раз тогда, когда мне захотелось поговорить.

Они сидели сегодня днем на берегу реки, сразу за яхт-клубом, там деревья близко подходят к воде, и можно присесть на белых, как кости, корнях, поболтать, поделиться с утками бутербродом.

Я смотрел на них от воды – одну я знал давно, а вторую будто впервые видел, а, может быть, и в самом деле впервые.

Одна - темноволосая, в замшевой куртке, по которой сразу видно, что это - авторская работа, и автор, скорее всего, сама девочка. Еще на ней имеются очень старые джинсы, а также ботинки, в которых можно перейти океан, пустыню и болото, и они разве что чуть утратят лоск. Мордашка у нее треугольная, с узким подбородком, светлые глаза она прячет под черной кудрявой челкой, а рот находится в той стадии задумчивости, которая всегда готова перейти в улыбку. Она умеет радоваться жизни и вообще поворачивать ее, жизнь, самой желанной стороной. А еще она любит, когда ее называют ведьмой и просят сделать что-нибудь эдакое.

Вторая девочка – рыжая, с короткой стрижкой, и тоже легко улыбается, но чаще кивает с серьезным лицом. Слушает она очень внимательно, но при этом одновременно думает о чем-то своем, и руки у нее постоянно заняты - теребят сухой прошлогодний лист, складывают из бумаги самолетик, на худой конец – крутят шнурок от куртки. Куртка у нее – самая обычная весенняя куртка. Немаркая, удобная, с большим количеством молний и внутренних карманов. Самое то на первые апрельские дни.

Я подошел поближе, потому что очень люблю подслушивать.

Моя знакомица увлеченно рассказывала: о городе, узких улицах, о маленьких лавках в центре, каждая полна всякой всячины, да что там лавки - достаточно выйти на улицу, чтобы набрести на что-нибудь необычное. Вот эту куртку, например, она перешила из двух, и обе нашла у художественной мастерской у старого пешеходного моста. Еще на всякий случай зашла в мастерскую - вдруг эти куртки не выкинули, а просто выложили проветриться на перила? Нет, выкинули, заверили ее, да еще и дали большой лоскут толстой свиной кожи, из лоскута получились отличные ремешки на застежки, а сами застежки она нашла в старой скобяной лавке, за гроши, и вот так - почти каждый день.
Я слушал и думал - ну конечно, я ее знаю. Сколько раз видел, как она подбирает мои приманки - деревяшки, кожу, медные трубки, колесики от старых часов, ключи. Особенно ключи. У нее все идет в дело.

- Я многие штуки просто так делаю. Ну, просто люди просят - "сделай мне эльфийский лес" или, скажем, "сделай что-нибудь про меня", - и я делаю, но вставляю, знаешь, особенную какую-нибудь штуку, золотую бусину среди зеленых, маленький ключ на цепочке. И получается вроде бы украшение, но немножко больше, чем украшение.

- Что-то вроде оберега? - спросила ее рыжая подружка.

Она смотрела на черноволосую мастерицу с восхищенным уважением: ей никогда не давались поделки, она даже шить не умела. А уж тем более делать такие украшения из стеклянных бусин, проволоки и старого ключа, чтобы любой, кто на них посмотрит, сразу бы понял, это - ключ к эльфийскому лесу, а может быть, и не только к нему. В четыре года, из-за слабых легких, ее "отдали на гимнастику", потом она подросла, отяжелела, и до конца школы было плаванье, а потом школа кончилась и начался институт, и было уже некогда учиться рукодельничать. К тому же рыжая была уверена: чтобы делать настоящие штуки, нужно быть хоть немного ведьмой. А настоящей ведьмой из них двоих была, конечно, не она.

- Ну, оберег. Оберег - это самое меньшее, - небрежно сказала настоящая ведьма. - Понимаешь, когда я вставляю в украшение старое колесико от часов или ключ или еще что-нибудь такое, я вставляю кусочек города. Это же он мне подбрасывает, я не просто так все это нахожу.

- Вот этот город тебе подбрасывает? Вот прямо берет и сует в руки?

- Ну да. Ух, у меня с ним роман. Я как сюда приехала, были же сразу вступительные, я ничего не видела вокруг себя. А потом объявили группы, я вышла из универа, посмотрела на него, от ступеней до самой обсерватории - и подумала: елки-палки, я же буду учиться в университете с астрономической башней! Хоть и на востоковеденье. И огляделась вокруг. И пошла. И еще месяц ходила тут как пьяная. Ух, Танька, хорошо, что ты наконец приехала! Я тебе теперь все тут распокажу.

Рыжая Танька улыбнулась одновременно застенчиво и понимающе. Конечно, это могло случиться только с Алисой, да что там, это должно было случиться именно с Алисой, зато, подумала Танька, в самом деле можно приезжать к ней в ее сумасшедший город. Конечно, маловероятно, что с ней здесь случится какое-нибудь чудо, но вот Алиска считает, что чудеса не случаются, а делаются, поэтому, если очень постараться, ухватить немного ведьмовства подруги,

побродить в ее тени, то, может, город и ей покажет что-нибудь особенное? Хотя нет, конечно. С ней такие вещи не случаются. Она даже снов своих никогда не помнит.

- Тут люди в самой настоящей сказке ходят, - говорила между тем Алиса. - Многим везет так, как не везло больше нигде. Но они как будто не замечают, не обращают внимания. Не вкладывают сознания, понимаешь?

- А когда вкладываешь сознание, то все равно везет?

- Когда вкладываешь сознание, "везет" - самое неподходящее слово на свете. Везет - это когда тебя кто-то везет. А нужно ходить своими ногами, смотреть во все глаза. Смотреть, что тебе подбросят, что из этого можно сделать - и обязательно делаешь, не даешь ничему пропасть, ну и ворожишь немножко, конечно. И вот тогда магия проявляет себя. Понимаешь?

Танька помотала головой. Вид у нее был ошарашенный.

- Когда вкладываешь сознание, ты говоришь со всем миром, понимаешь? А он говорит с тобой. И вот тогда ты чувствуешь такой невероятный подъем, что слов нет. Ты понимаешь, что можешь все. И вот тогда надо вспомнить, кто ты есть, как следует вспомнить. И удержаться за то, кто ты есть. Что ты тут не просто так. Вот какая есть ты – со всеми своими заморочками, и ты здесь - не просто так.

- И тогда что? - почти шепотом спросила Танька. - За время разговора она успела вырвать из тетрадки лист и сложить из него "двутрубник", бумажный кораблик. И теперь держала его, как самый непрочный в мире спасательный круг.

- А никогда не знаешь заранее. Но появляется то, что тебе нужно. Бывает, что на месте какого-нибудь бестолкового магазина откроется правильная лавочка. Или в «Арт-хаусе» появится фимо нужного цвета. Или вообще появится – знаешь, пока я не занялась куклами, его ведь во всем городе не было. А теперь есть, всех цветов. И глаза, и волосы.

- Но ты не загадываешь заранее?

- Не-а. Просто появляется то, что нужно. Но не просто мне, а чтобы снова поговорить со всем миром. Чтобы сделать новую вещь. Обязательно должен быть результат, понимаешь? Еще вот когда я бусы плету или кукол делаю, бывает такое ощущение... как вот идешь по городу, никуда и в то же время куда-то. Процесс захватывает. Неужели у тебя никогда так не было?

- Не знаю, - задумчиво отозвалась Танька. – Иногда, на втором часу тренировки, мне уже бывало все равно, бегу я или нет, и сколько я пробежала. И вот тогда у меня появлялось... что-то вроде чувства, что меня нет. Вообще нет, нигде. В голове – ни одной мысли, только сердце бьется даже в ушах. И мир, он как будто смещается. Становится немного размытым, как в летнем мареве, знаешь?

Этих слов я не ожидал. Никак не ожидал от девочки, которая никогда не помнит своих снов. Я насторожился. Таким вещам здесь не учат, а там, где учат, учат всю жизнь. Откуда она знает?

- И мне иногда казалось, что если я закрою глаза и побегу еще быстрее, то окажусь в совершенно другом месте, вообще другом, по ту сторону кроличьей норы или в зазеркалье. Но не очень было понятно, кому бежать, если никого нет, - добавила она, повела плечом, улыбнулась и посмотрела на свои руки, в которых все еще был кораблик. Его белые бока в клеточку были густо исписаны. Я подошел еще ближе. Какая-то история, но я не мог прочитать. Что-то о встрече на мосту. Интересно, подумал я, она ее написала заранее и случайно сложила кораблик из первого попавшегося листа?

Танька привстала, наклонилась к воде и чуть подтолкнула "двутрубник" вперед. Я подул ему в бумажную спину, кораблик резво вышел из заводи и поплыл, подхваченный течением.

Скажи мне, прошептал я на ухо рыжей девочке, ты сейчас отпустила историю - или кораблик из листа исписанной бумаги? Или и то, и другое? Скажи мне. Поговори со мной.

Рыжая Танька слегка нахмурилась и обернулась на подругу.

- Прости, ты что-то сказала?

- Классный кораблик. Можно, я тоже возьму страничку?

- Ага. Бери, конечно.

Поговори со мной, повторял я настойчиво, поговори со мной. Придумай, как, я очень хочу поговорить. Дай мне знак. Дай мне знак, что ты слышишь меня. Вещи, обереги - это рукотворное, это о другом. Это весело и приятно, еще бы, я охотно играю в эти игры, но у меня есть не только вещи. У меня есть ветер. И река. И запах моря, которого здесь просто не может быть.

Танька снова нахмурилась и беспокойно заозиралась, а потом посмотрела на реку, на почти белую воду, на уток, на огромные ивы в клубках омелы, и тогда река каким-то образом оказалась не только у нее перед глазами, но и вокруг, и за глазами тоже, она даже почувствовала холод и чесотку в носу, как бывает на море, если вдохнешь неудачно. Река, омела и утки маячили за обратной стороной ее глаз, не в голове, а гораздо шире, как будто от нее ничего, кроме этих глаз, не осталось, как будто она вся превратилась в глаза, очень удивленные, без век и ресниц, умеющие только одно - смотреть во все стороны разом. Она сидела, даже немного раздавленная этим чувством, не понимая, что происходит, а потом Алиса взяла у нее с коленей тетрадь и с громким хрустом вырвала чистый лист, и все прошло. Она снова была собой, а река и небо снова были отдельно от нее, и глаза в любой момент можно было закрыть, положив границу между собой и внешним миром.

Но холод в носу остался. И даже пробирался куда-то выше, к вискам и затылку. И в ушах звучало что-то, очень похожее на урчание холодильника. Или радио у соседей.

- Слушай, - сказала она Алисе. - Ты не знаешь, в городе есть лавочка, где продают бумажные фонари? Такие, со свечкой внизу. Чтобы запускать.

- Есть, конечно, у меня в городе все есть, - отозвалась Алиса, увлеченно складывая бумажную лодочку. - Я ее наколдовала месяца два назад. Там всего полно, и свечей, и коробок, и фонарики тоже точно были. Я как раз думала, что нужно иметь лавочку, где были бы фонарики и свечки, а то у нас все такие вывелись в округе, ну я и сделала. Она как раз в феврале открылась. За две улицы от меня.

Рыжая Танька решительно поднялась.

- Пойдем, - сказала она. - Мне нужны фонари. Красный, желтый, синий... и еще синий. Да. Синих должно быть два. - Внутри нее поднимался смех, беспричинный и оттого совершенно неудержимый. – Это так здорово! – сказала она. – Так ужасно здорово, что ты наколдовала эту лавку. Как раз тогда, когда мне нужно поговорить!

баллончик с английским лаком

Когда работаешь дома, рано или поздно приходишь к необходимости ритуалов, даже если в доме есть мастерская. Потому что как-то нужно отделять работу от дома, как воду от суши. У тех, кто каждый день едет на работу, таким разделителем служит дорога. И вообще сознательное (хотя бы отчасти сознательное) перемещение тела в пространстве. Подготовка этого тела - ботинки, плащ, ключи еще не забыть. А если работаешь дома, то никакого зазора между состоянием "работа" и "дома" нет. И тогда делаешь этот зазор искусственно.

После такого вступления следовало бы, наверное, рассказать, как я долго просыпаюсь, варю себе кофе, читаю почту и новости - и только после этого берусь за дела. Конечно, я люблю и такие дни. Но гораздо больше я люблю, едва продрав глаза, прошлепать к столу и посмотреть утренним взглядом на то, что оставил с ночи. Именно в этот момент между сном и явью я восстанавливаю связь с работой, вообще какую бы то ни было связь - между вчера и сегодня, между собой и собой. А вот после этого можно уже варить себе кофе, читать новости и письма.

Поэтому сегодня утром я первым делом уставился совиными очами в планшет, оставленный сохнуть с вечера. Ага, "с вечера". В пять часов утра я наконец решил, что хватит, дальше начну портить, оглядел рисунок еще раз, залил лаком и упал спать. Я не очень-то люблю фиксативы, но соус, сангина и акварельный карандаш - никуда не денешься, это ведь все еще сканировать, и не один раз, да в редакцию отнести, да там еще полежит в папках. Так что можно и в гнусном запахе поспать. Не говоря уже о том, что нынче и запах стал гораздо лучше - вчера, когда я как следует растряс баллончик и от души залил планшет, привычной вони почти не было, скорее уж - запах озона, я еще порадовался, наконец-то и о нас, наркоманах подневольных, подумали.

В рисунок я смотрел не меньше минуты. Это был отличный рисунок, смелый, техничный, безупречный по композиции, колористика - вообще за гранью. Но он не имел никакого отношения к тому, что я делал накануне. Он и ко мне-то никакого отношения не имел. Когда я так начну делать акварель, я брошу к черту промграфику и буду делать только акварель.

- Где мой дворик? - пожаловался я вслух. - Я всю ночь делал чудесный дворик. Я очень люблю море, но Паша захочет дворик, причем уже завтра, у него верстка. Что за хрень?

Можно было, конечно, предположить, что я, в помрачении рассудка, поверх одного листа выклеил второй (ага, прямо вот под акварель так и плюхнул мокрый лист на рисунок соусом, ехидно булькнуло внутри), сделал этот шедевр с чайками, парусами и морем таким синим, что уже совсем зеленым, - и забыл об этом. Но в таком случае под шедевром должен быть лист? А на столе - коробка с акварелью и палитра, потому что коробку я еще могу закрыть и убрать, но я никогда не убираю палитру. Если с утра понадобится правка, где я возьму смесь, которой работал накануне? В раковине? То-то же. Но на столе - коробка от "фабер-кастелл", и в ней отнюдь не краски.

Я аккуратно, одну за другой, оторвал полосы бумажной малярной ленты, которыми лист крепился к планшету. Второго листа, конечно же, не было. Хуже того, под лентой нашлись следы соуса и сангины - остатки черновой разметки. То есть я каким-то образом записал акварелью готовый рисунок, который завтра надо отдать издателю. Положим, ради такой акварели я записал бы сотню рисунков, всегда мечтал рисовать море вот так, почти плоско, одними потеками воды и краски, ловко обходя белые паруса, залитый солнцем пирс и десяток чаек. Положим, мне даже снились папки, полные таких рисунков, положим, я потратил почти год на то, чтобы научиться делать заливки (и все равно - вот так, с таким переходом от глубочайшего ультрамарина к наглой зелени я не смог бы сделать). Но почему же я тогда начисто не помню, как делал конкретно вот это?

- Надо сварить кофе и что-нибудь съесть, - сказал я вслух, комкая содранную ленту. Отправил ленту в ведро (она была какая-то склизкая на ощупь, но это я едва заметил), поставил кофе и минуты три смотрел на то, как подходит пенка, как она вспучивается сквозь плотную корку у горлышка, вулканом прорывается наружу - и течет на плиту, зараза! Отпил гнусного варева и после этого взялся за яичницу.

Приготовление еды меня странным образом успокаивает - вряд ли найдется в мире что-либо более трезвое и надежное, чем возня на кухне. Когда мне нужно немного подвинуть одолевающий меня изнутри хаос, я начинаю мыть плиту - и это действительно помогает. Сегодня я отмыл все четыре конфорки, духовку, раковину и все шкафы, и к концу этой процедуры чувствовал себя почти хорошо. Ну, ладно, у меня провалы в памяти. Ничего страшного. Зато какая акварель. Вот сварить еще кофе и пойти посмотреть на нее снова. Если, конечно, она еще не исчезла.

Она не исчезла. Разглядывая рисунок, я машинально прибирался на столе. И взялся за кусок листа крафта, который подкладывал под руку, работая с сыпучим соусом, и на котором опробовал фиксатив. Лист у меня этот был на все про все, так что на нем была еще записана пара телефонов, какие-то заметки по книге, которую я иллюстрировал, список продуктов - словом, обычная ерунда. Под фиксативом бумага была темнее, чем на остальном листе. А еще это была не бумага.

Неправильной формы круг являл собой вставку либо пергамента, либо бумаги, но вощеной и состаренной. Половину этого пространства занимал инициал буквы "А", в красный и синий цвет, с завитками, бутонами и орехами. Остальное было текстом. Рукописным текстом. За пределами пятна текст продолжался - но уже был записан моим почерком и вполне читаем. Прочесть же витиеватое письмо внутри пятна я не мог бы при всем желании - во-первых, это была не кириллица.

Честно говоря, мне хватало и во-первых.

Я взял в руки баллончик с фиксативом. Самый обычный фиксатив, английский, "Велл-эйдж", я пользовался им сотни раз. Ну, не конкретно этой маркой, но чем-то похожим. То есть еще вчера я был уверен, что если этот баллончик у меня кончится, я пойду в магазин и куплю новый. Сегодня я в этом уверен уже не был. Я открыл ноутбук и набрал в "гугле" марку. Ничего. Нет такого производителя товаров для художников. Или "гугль" о нем ничего не знает - какая версия тебе больше нравится, дорогой мой потенциальный обитатель палаты для буйных? Я задумчиво растряс баллончик. В нем было еще не меньше половины. Гм. На чем бы его опробовать.

Я открыл первую раму окна, а потом медленными, плавными движениями залил внешнее оконное стекло. Не целиком, но приличный квадрат, примерно треть. Оно тут же покрылось каплями дождя, дождь становился все сильнее, капли бежали уже ручьями - я ошеломлено смотрел на то, как они исчезают на границе того пространства, которое я очертил лаковой струей.

- Ничего себе, - сказал я. Больше мне сказать было нечего.

Я ничего не имею против чудес. Но давно заметил, что практической пользы от них очень мало. От тех, что случаются на самом деле, а не в сказках. От некоторых может быть даже практический вред - к примеру, рисунок мне теперь делать заново, причем срочно. Не говоря уже о том, что надо бы как можно скорее, пока еще нет шести вечера, сбегать в лавку за нормальным фиксативом, завтрашнюю сдачу никто не отменял.
Так что я, все еще немного ошалевший, быстро оделся, собрался и пошел на улицу. После художественной лавки мне приспичило зайти за кофе, а потом за хлебом и ужином, а потом немного погулять, так что домой я вернулся ровно во столько, чтобы всю ночь просидеть за дубликатом злополучного дворика - с лавкой, чахлой сиренью и мотоциклом, как и было в утвержденном эскизе.

Поэтому в окно я выглянул только тогда, когда уже начинало светать.
В окне было море. Очень тихое, очень сонное, под белесым, расчерченным розовыми полосами небом. Оно ворочалось и плескало мелкой волной на гальку, а я стоял перед ярким квадратом в стекле, как ни один узник не стоял перед окном своей камеры. Недалеко от берега в море были скалистые острова, те, что стояли близко, соединялись горбатыми мостиками. На гребне одного из островов ярким пятном белел двухэтажный дом. Внизу у причала покачивалась маленькая яхта.

Я снова взял в руки баллончик. Встряхнул. Шарик, который есть в любом баллончике с жидкостью, звонко ударил о стенки - значит, осталось совсем на дне. Я сам не понимал, что на меня нашло. Здравый смысл вопил: проверь, идиот, проверь сначала! И я проверил. Взял мокрую губку и, обмирая, провел по морскому квадрату на стекле.
Ничего не изменилось. То есть нет, наоборот: то, что изменилось, изменилось навсегда, никакая вода это не смывала. Ну, я проверил, сказал я здравому смыслу. Ну, валяй, отозвался здравый смысл, но как-то вяло.

И тогда я, плотно закрыв глаза и стараясь не думать о том, что ресницы могут склеиться намертво и как я их тогда буду разлеплять, щедро дунул остатками фиксатива себе в лицо, в правый глаз и в левый.

После чего наощупь кинулся в ванную. Резь была невыносимая, как будто я щедро всыпал в каждый глаз по горсти песка. Я промывал и промывал, холодной водой и теплой, потом снова холодной, подносил к глазам сложенные лодочкой руки с водой - и пытался моргать в ней. В конце концов резь стала потише, я промыл глаза еще раз и взглянул в зеркало над раковиной. Из зеркала на меня глянула опухшая физиономия с красными веками - абсолютно моя.

И тогда я закрыл глаза и посмотрел снова. А потом открыл и еще раз посмотрел, а потом опять закрыл и опять посмотрел сквозь веки. Еще подумал - интересно, как я теперь буду спать.

И - может быть, в баллончике еще хватит хотя бы на одно ухо?

чтобы прекратить дождь

Первый раз я побежал к тебе совсем ранней весной.

Я шел по парку, в воздухе плыла стылая морось, черные ветки копили воду и время от времени сбрасывали вниз крупные капли, тяжелые и темные, как ртуть.
Я шел и думал о тебе. Я всегда думаю о тебе с тех пор, как тебя нет, говорю с тобой вслух о всякой ерунде, типа «сегодня ничего не получилось, ни поспать, ни поработать, так что я поехал в город за кофе, да так и застрял там на полдня». Или «в парке появились первые крокусы, так жаль, что я не могу показать их тебе». Я бормотал и пинал прошлогодние каштаны, когда увидел в конце аллеи тебя.

И я побежал. Побежал быстрее, чем сообразил, что сейчас обознаюсь: на меня обернется чужое, не твое лицо, потому что тебя здесь нет, уже много лет нет, уже столько лет нет, что я дня не могу прожить, не бормоча тебе всякие глупости на ходу.
Меня хватило метров на триста. Мне было нечем дышать, в легкие словно гравий натолкали, а

ноги болели так, будто я воспользовался ими первый раз в жизни. В глазах потемнело, уши заткнуло ватой и звоном одновременно.

Когда я отдышался и распрямился, в аллее, конечно же, уже никого не было.

Я посмотрел назад – и пробежал-то всего ничего. Неужто все так плохо?

И тогда я взял да и купил себе кроссовки.

Мне совсем не хотелось бегать. Ни ради здоровья, ни ради хорошей формы. Я думал только об одном: а что, если я снова увижу твой силуэт в конце аллеи. Даже если это будешь не ты, что помешает мне сказать: здравствуй, ну, наконец-то? А еще я думал: а если это все-таки будешь ты. И еще: как же быстро я побегу к тебе. Как обниму тебя, как зароюсь лицом в волосы, как вдохну твой запах, как расскажу, до чего же я соскучился тут один.

Я бегал каждый день, и каждый день пробегал немного больше, чем в предыдущий. Весеннее солнце вылезало из-за туч, на полянах крокусы тянули вверх разноцветные рыльца. А потом начали зацветать деревья, с южного края аллеи, сначала одно, потом второе, за ним – третье в ряду, будто кто-то каждый день по порядку дотрагивался до стволов и велел – цвети! Я выходил рано утром в пасмурный со сна парк, бежал по темным аллеям, и в конце пути меня всегда поджидало солнце.

Но не ты. Я отдал бы все на свете за то, чтобы добежать до тебя, но чем дольше и дальше я бегал, тем лучше понимал, что этого не будет никогда. Что в лучшем случае я вызову твой призрак. Что ж, думал я, пусть бы и призрак. Твой призрак.

Я бежал к тебе. Сначала по асфальту, потому по грунту, утоптанной дорожке в траве между корней. Земля пружинила у меня под ногами, я старался бежать так, чтобы немного зависать на каждом шаге. Я начал получать удовольствие от процесса, во всяком случае, первые десять минут. И еще десять минут мог пробежать на одном упрямстве. И еще пять – воображая, что бегу к тебе.

Была уже середина марта, я бегал почти месяц и думал, что знаю дорожку наизусть. Я бежал, не глядя под ноги, подпевая музыке в плеере. Внезапно наперерез мне выскочила какая-то собака, метнулась поперек дорожки, едва не сбив меня с ног. Я оступился, запнулся за корень, и едва успел повернуться боком, чтобы упасть на плечо, а не на руки. Земля, ноздреватая и влажная, как губка, шарахнула меня во все тело, но так удачно, что даже синяков не осталось. Я встал, отряхиваясь. Плечо сильно саднило, и меня вдруг взяла досада: что я тут делаю? Зачем ношусь в парке каждый день, кого догоняю? Никто никогда не будет ждать меня в конце аллеи, никто не обернется на мой оклик.

Я вернулся домой, не закончив бег. И на следующее утро не пошел в парк, тем более, что с утра моросил дождь. Я сидел дома день за днем, что-то писал и делал какие-то рисунки, потому что надо же было добывать хлеб насущный.

Иногда я смотрел в окно, на струи, бегущие по стеклу. И говорил – не с тобой, а с собой. Что так и до зеленых чертиков рукой подать, что раз уж я жив, нужно жить свою жизнь, а не превращаться в фонтан слез, потому что сколько можно – быть здесь без тебя и плакать, это невозможно - быть здесь без тебя, невозможно быть здесь, смотреть на треклятый дождь и все равно быть здесь, и все равно без тебя.

Через две недели заговорили о наводнении. Погода испортилась окончательно, я уже и забыл, как выглядит солнце. Еще через неделю я услышал в продуктовом, что объявлено чрезвычайное положение. Я вышел из магазина с пакетом в руках и дошел до конца улицы. Оттуда начинался парк. Он стоял мокрый и холодный, на черных асфальтовых дорожках серыми кляксами гнили опавшие лепестки вишен. Из низких туч сыпалась мелкая морось. Я развернулся и пошел домой.

Какого черта, думал я. Еще три недели назад каждый день было солнце, а дожди шли по ночам, веселые, весенние дожди, под которые так сладко спать. Я носился в парке, как годовалый пес, а вокруг зацветали вишни. Почему я сейчас не могу этого делать? Потому что все равно никогда тебя не увижу, думал я. Потому что лучше бы мне жить, не помня о тебе, чем помнить о тебе так. Дождь плеснул мне водой в лицо, и я ускорил шаг. Ты действительно этого хочешь, спросил я. Ты действительно хочешь не помнить? Я хочу не искать тебя за каждым поворотом

аллеи, ответил я. Я хочу носиться в парке, как годовалый пес. Я хочу перестать повторять «как же я без тебя, как я без тебя».

Носись, кто тебе мешает.

Ну как это – кто. Ты и мешаешь.

В самом деле?

Я поставил пакет на разделочный стол и принялся раскладывать продукты. Яйца – в контейнер в холодильнике, овощи - в нижний ящик, мясо замариновать. Я много лет учился быть без тебя, я живу, я дышу, я рад весне и первоцветам, рад жаркому лету, теплой зиме и осеннему зареву листьев, но все это не имеет значения, потому что без тебя. Виноград нужно помыть и выложить на стол, не то я забуду про него и сгною, сколько раз уже так было. Я научился тут быть без тебя, но, знаешь, теперь не вижу никакого проку в этой науке. Бесполезное умение, не стоило тратить на него столько лет. Забыл ветчины купить, вот растяпа.

А еще я очень устал. И дождь этот бесконечный, сил больше нет на него смотреть.

Так иди и прогони его.

Я посмотрел на кроссовки. Они уже слегка посерели от пыли. Снаружи по-прежнему моросило, и я прихватил куртку.

Первый круг я одолел с большим трудом, у меня заболело сразу все, - ноги, плечи, правый бок. Я попробовал привычно представить, как добегаю до тебя – и чуть не расплакался. Я бежал, считая вдохи и глядя себе под ноги, на то, как бьют в асфальт подошвы моих кроссовок, разбрызгивая лужи и прошлогоднюю листву. Вода блестела так, что было больно глазам. Я поднял голову. В разрывах туч сияло весеннее небо, серые облачка быстро бежали прочь, отвесный свет пробивал все насквозь – парк, деревья, меня. Когда я закончил второй круг, от обложных туч осталась только неровная бахрома вдоль горизонта.

Я никогда не добегу до тебя. Никогда не обниму, не зароюсь лицом в волосы, не вдохну твой запах, не расскажу, как я замучался тут один.

Я больше не бегаю в парке каждый день.

Но когда тучи обкладывают небо, как ангина – горло, я встаю пораньше, варю себе кофе, потом одеваюсь, зажимаю в кулак ключи и плеер, и бегу в парк.

Я несусь, как годовалый пес, зависая в воздухе на каждом прыжке, едва касаясь земли. Я бегу, чтобы прекратить дождь.

марш

Сколько я себя помнил, бабушка была командир. Пчелиная царица. Покрикивала, подгоняла, распоряжалась. Быстро сказали, кто что будет на обед. Кому что греть, кому что готовить. Нет, без первого нельзя, можно выбрать, солянку или грибной, но что это за обед без первого? Живо все сели за стол, кому чего не хватает? Хлеб немного зачерствел, так что будет поджаренный, красной рыбы никто не хочет, осталась от завтрака? А котлеты совсем не удались, вы их и не едите.

- Еще как едим. И салат сейчас доедим тоже.

- Салата много, полная кастрюля, кому доложить?

- Ба, посиди с нами.

- Сейчас, только чайник поставлю. Ах, растяпа, сметаны нет на столе. Так, сразу говорите, кому лимона.

- Ба, поешь, мы сами принесем.

- Вот еще, вы же не знаете, где что. Ну что, поели? Марш, марш, мне посуду еще прибирать. Давайте, гуляйте, нечего тут сидеть со старухой. Кто что на ужин будет?
И вот так целыми днями. Поступь у нее была твердая, пяткой в пол, и целыми днями по дому разносилось «туп-туп-туп» из кухни в столовую, из столовой в прачечную, из прачечной – на веранду, к сушилке с бельем.

- Что это вы там развешиваете? Воскресенье же сегодня. Марш отсюда, ироды бессмысленные, в меня же все соседи пальцем будут тыкать, совсем бабка сдурела, порядку не знает, стирку затеяла в воскресенье! Принесите мне все полотенца из ванной, я сама развешу!

- Ба, ты же всю жизнь каждый день стираешь!

- А как же. Нельзя же без чистого. Так ты его полотенцем завесь, и хорошо. Полотенца сушить можно, никто слова не скажет.

- Ба, ну что тебе, не все равно, что ли? Сколько лет они тебя знают-то?

- Мне-то все равно, а им – нет. Вы, конечно, самые умные. Если бы у вашей сушилки каждая соседка останавливалась и приговаривала, ах, фрау Анна, разве вы не знаете, что господь не велит стирать в воскресенье! Ну, умники, что бы вы сказали?

- Идите в пень, фрау Марта, фрау Лиза и фрау Белла, вы отлично знаете, что я не верующая, вот что мы бы сказали.

Бабушка только укоризненно качала головой на эти крамольные речи, потом спохватывалась, хмурилась и гнала нас на улицу: нечего в доме сидеть, идите прогуляйтесь до моря или куда вы там обычно ходите. Заодно купите свежих булочек в пекарне. Марш!

Мы приезжали к ней на каникулы, на много дней и недель, мы отъедались, отсыпались, покрывались загаром и налетом морской соли. Каникулы становились короче, потом превратились в отпуска, у нас появились дети, и мы везли их к морю в старый бабушкин дом со скрипучими полами и тюлевой занавеской на двери веранды, и по-прежнему по дому разносилось деловитое «туп-туп-туп» и покрикивание: марш за стол! марш на улицу!

Сначала нам даже в голову не приходило ослушаться; потом было забавно – взрослые уже люди, а нас гоняют, как маленьких; а потом это просто стало чем-то неотъемлемым – от нее, от ее дома, от десяти восхитительных дней моря и солнца.
В этот раз мы приехали всего на три дня – вырвались посреди весны, восемьдесят лет – солидная дата, нельзя не приехать. Утром четвертого дня собрали две машины, уложили вещи, коляски и трех плюшевых медведей. Долго и лениво завтракали, все-таки семь часов дороги впереди.

- Ну все, встали, посуду я приберу, а вам еще день ехать. Я вам еды собрала – огурчики в фольге, курица тоже, пирожки отдельно, воду взять не забудьте. Марш!

- Ба, - сказал я. – Дай ты мне кофе допить, что ж такое. Все направо, все налево. Что ж ты нас гонишь-то, как овец на пастбище.

Она посмотрела на меня особенным, с детства знакомым взглядом: умник! И сказала:

- Взрослый мужик, высшее образование, два ноутбука с собой возит. А все ему объяснять. Поехали к старухе на именины. Что ж я, не понимаю, что у вас есть дела поинтереснее меня тут развлекать? Ты человек воспитанный, ты же не скажешь бабке – ну все, нам пора ехать, ты же будешь сидеть.

Я чуть кофе не поперхнулся.

- Да нет, ба, именно так я и скажу, - растерянно пробормотал я. – Когда действительно будет пора ехать. Я же не могу тут остаться, у меня работа.

У меня вдруг пронеслись в голове все ее «марш!» и «все, встали и пошли!», за множество дней и лет. Я-то думал – ну надо же, сколько в ней все-таки силы и жизни, сколько энергии, она везде первая, а ведь уже возраст, и все равно – пчелиная царица, командир, организатор.

Я представил себе, каково это может быть, каждый день торопиться со своим «все, встали и пошли» - лишь бы опередить, лишь бы никогда не услышать «ну, мы пошли, ладно?» - извиняющийся тон, которым говорят посетители больных или одиноких.

- Ба, - сказал я. Подсел к ней, взял в ладони шершавую, в сеточку, руку. Она отвернулась, но руку не отняла. – У меня тут была переработка, так что я недели через две приехал бы еще раз, а? На выходные и еще пару дней. А то мы так и не искупались.

- Охота тебе со старухой возиться, - проворчала она в сторону, явно довольная. – Больше тебе выходные, конечно, девать некуда. Ну все, все, пошел, ехать пора. Еду не забудьте. Марш!

На кладбище при Сен-Матиас-Кирхе хоронили только добрых католиков местного прихода, редкие похороны бывали торжественны и пышны, так что на свору при городском крематории Пес смотрел свысока. Потому что всякая собака должная иметь гордость, особенно, если больше иметь нечего.

Сторож прикармливал его, но в дом не пускал, выделил старое пальто и место возле аккуратных мусорных баков. Раз в три дня он приносил Псу мясных обрезков в позавчерашней газете, говорил "ну-ну" и уходил. В такие дни Пес предавался философии: пожирал обрезки, вылизывал газету, полдня разбирал по слогам заголовки, а после размышлял о превратностях судьбы. Когда обрезков не было, он бежал попрошайничать у туристов на площади перед Домским собором. Туристы кормили охотно, не переводились ни зимой, ни летом, за их счет жил богато и сыто весь город, не то что полубродячий пес с католического кладбища.

Ни подруги, ни приятелей у Пса не водилось. Пес не терял надежды втереться в доверие к сторожу, и любая другая собака могла стать ненужным конкурентом. Искоса, сквозь ограду смотрел Пес на холеных аристократов из соседних домов с палисадниками. Куда ему в такие хоромы - беспородному, с прокушенным ухом. Пес повторял себе, что до людей и знати ему нет никакого дела, но, дочитав старую газету, он ложился на пальто и мечтал о собственном камине и кухне. Благ домашней жизни вожделел он с такой силой, что во рту становилось сладко, а в желудке - горько, и на глаза наворачивались слезы, особенно зимой.

Но кухни принадлежали людям. Сколько ни бегал Пес по городу, ни совал нос в открытые двери, он не нашел ни одной бесхозной. Здесь, несомненно, скрывалась какая-то магия: стоило человеку покинуть дом, кухня и камин исчезали, а на их месте возникали холодные камни и паутина. Лежа на черном пальто, Пес часто размышлял, как хорошо было бы заполучить своего человека. Тогда, глядишь, и кухня появится. Но даже кладбищенского сторожа не прельщало соседство рыжего блохастого оборванца. А вот был бы он сторожем сам, непременно поселил бы себя на своей кухне. Пережив зиму, Пес начинал внимательнее проглядывать газеты из-под обрезков. В конце февраля, перед Великим Постом, в городе устраивался карнавал, на нем можно было запастись жирком до самой Пасхи. Читал он медленно, понимал далеко не все, и потому загадочную фразу "добрым католикам на карнавале следует быть воздержаннее в употреблении крепких напитков, поскольку пьяный впадает в скотство и теряет человеческий облик" Пес прочел дважды, ничего не понял, а когда перечел в третий раз, страшно разволновался.

Вот оно что! Человеческий облик! Оказывается, его можно потерять, особенно спьяну, ну и дела. Ах, как кстати ему пришлась бы такая потеря. Кто его знает, как он выглядит, этот облик, может, что-то вроде одежды, что-то небольшое, что может выпасть из кармана? Ничего, он распознает, когда увидит, нужно только внимательно следить в толпе и хватать, пока облик еще теплый и мягкий, а там уж выбирать себе сладкую кухню. Следить, конечно же, нужно было у пивных и на Домской площади. Весь первый день праздника Пес вился у людей под ногами, не забывал хватать жирные куски, но глотал, не жуя - был очень занят. Он быстро выяснил, что на туристов рассчитывать не стоит, они и пили-то всего ничего, больше галдели. Горожане пили много, но как-то не слишком пьянели. Смеялись, болтали, переходили от одной пивной к другой, подкармливали Пса и прочих городских собак, и расставаться с человеческим обликом не спешили.

Пес почти отчаялся, когда на узкой улочке увидел толпу школяров, явно близких к потере. Они горланили песни, стучали в окна первых этажей и раскидывали по улице пивные бутылки. Пес изготовился к прыжку. Но, дойдя до перекрестка, школяры стихли и повернули обратно, собирая по пути разбросанное. Пес даже тявкнул на них с досады и вернулся на площадь.

На площади гасили огни, люди расходились. Несколько запоздалых гуляк тянули пиво за широкими деревянными столами. Пес забился под скамейку, нашел оброненную кем-то колбаску, понюхал ее и отвернулся. Карман у них, что ли, особый имеется, тоскливо размышлял он. На кнопках или молнии. И они туда свой облик, как бумажник. А когда надо, так сразу и вытащат. Эх, эх...

Кто-то несильно пнул его в бок, и Пес поднял голову - не перебраться ли под другую скамейку? За его столом клевал носом одинокий студент или, может, молодой школьный учитель, существо безобидное. Хозяин пивной собирал кружки. Пес совсем уже решил подхватить колбаску и потрусить домой, но тут рядом со студентом присела молодая фрау. Фрау была чистенькая и даже хорошенькая, но от ее запаха у Пса вздыбился загривок и задергалась верхняя губа. Фрау пахла мокрой шерстью, прошлогодней листвой и свежей кровью.

Она оглядела сонного студента, сняла с него очки, а потом каким-то особенным движением толкнула его лицом в стол. Юноша обмяк. Вдоль его спины прямо под морду Псу скатилось нечто эфемерное, но в то же время осязаемое и зримое - прозрачный клок не то полиэтиленового пакета, не то тумана, оно слабо светилось и вздрагивало в полутьме. Плохо соображая, что делает, Пес схватил этот клок. И тотчас вровень со своими глазами увидел бешеные желтые глаза, изумленные и злые.

В один прыжок Пес вылетел из-под скамейки и помчался к родному кладбищу. На что он надеялся, удирая от разъяренной волчицы, он и сам не понимал. Лязг зубов и брань оборотня раздавались у него над самым ухом, он мчался по темным улицам, задыхаясь и не помня себя от страха. Протиснулся в калитку, ободравшись о прутья, кубарем пролетел через двор, стукнулся лбом о двойные двери западного портала - и повернулся, зажимая уши и рыча, хотя, конечно, понимал, что драка будет недолгой.
Но волчица молча стояла у самой калитки и с ненавистью смотрела на большой круглый фонтан в центре двора. Колонну над чашей фонтана венчал кельтский крест, ровесник Римской империи. Сен-Матиас-Кирхе была построена на месте старой христианской базилики, а ту возвели еще во времена Константина, тоже на руинах старого святилища. Многие поколения оборотней обходили это место стороной, и теперь волчица, как ни была рассержена, топталась в нерешительности. В свете полной луны Пес видел каждую шерстинку на ее загривке. Наконец оборотень коротко рявкнул и скрылся за оградой. Мгновение спустя пес услышал стук каблуков.

Пес перевел дух и плюхнулся животом на ступени – лапы не держали. Прозрачный клок все еще свисал у него из пасти. Осторожно выложив его перед собой, Пес принялся рассматривать свое приобретение. И что, скажите на милость, с этим теперь делать? На себя натянуть, как чулок? Или съесть? Не пахнет ничем, только светится и подрагивает, как белая тряпка в воде лунной ночью. Наткнись он на такую штуку случайно, поморщился бы и прошел мимо.

Пес подумал еще немного и опасливо втянул в себя туманный клок. Глотать не стал, сунул под язык. С улицы раздался близкий женский смех.

Животу и лапам стало немедленно холодно. Пес вскочил – и чуть не упал снова: каменные ступени резко дернулись вниз, а массивное медное кольцо на двери, всегда бывшее вровень с носом, вовсе исчезло из виду. Задние лапы выросли и облысели. Пес в ужасе посмотрел на передние. Святый Боже, во что они превратились!

В груди нестерпимо болело, голова кружилась, в глазах щипало. Господи, Господи, что же это. Тысячи назойливых мыслей облепили голову, как мошкара. Где добыть одежду? Как теперь быть? Есть ли у него душа? Что с ним будет, когда он умрет? Что скажет сторож, когда завтра придет с мясными обрезками? Почему его бросила мама?
Дыши, сказал себе Пес. Дыши. Вот так. Сейчас можно завернуться в черное пальто, оно уютно пахнет псиной и довольно теплое. С кладбища можно уйти раньше, чем появится сторож. Одежду получше дают в миссии на Каролинг-штрассе, там же, между прочим, дают и денег, пять евро в день, не так плохо. Бесплатные кормушки тоже есть. Надо дождаться утра, а после начинать новую жизнь. Поджимая ноги и дрожа, Пес добрался до своего пальто. Стало чуточку легче. Повозившись, Пес лег на бок и свернулся клубком, хотя с нелепым человеческим телом это удалось не так хорошо, как обычно. Нужно пережить ночь.

Немного согревшись, Пес повздыхал, поплакал и уснул. Проснулся он замерзший, в слезах и какой-то слизи, текущей из носа. Первое, что он увидел, были его родные, рыжие лохматые лапы. Пес выскочил из пальто, задрал голову к серому утреннему небу – и завыл, со всхлипами, тявканьем и стоном, и выл так до тех пор, пока ему не полегчало.

Успокоившись, Пес проверил свою находку. Может, выпала во сне? Но волшебный комок был на месте, между языком и щекой. Что же это означает? Это, люди добрые, означает, что он стал оборотнем, вот что. Может, не чистокровным, но все же оборотнем. И с наступлением ночи

он снова превратится в человека. От одной только мысли об этом пса передернуло. Опять мерзнуть, беспокоиться о всяких глупостях, плакать, видеть сны? Бессмертие души, лучшая участь - о чем он только не передумал, пока засыпал. И что, вот так – каждую ночь? Всю жизнь? Да какая кухня, его не утешит ни одна кухня на свете, если каждую ночь придется думать, где теперь его мама и кому он такой нужен.

Надо было срочно что-то съесть или хотя бы напиться. Пес встряхнулся и побежал через кладбище к фонтану на церковном дворе. Вкуснее воды не было во всем городе, а пить с каждой минутой хотелось все больше.

Но у фонтана уже кто-то был. Нагнувшись над чашей, он пил из ладони быстрыми, жадными глотками. Пес остановился посреди двора, готовый к бегству. Человек распрямился, а потом тяжело осел на каменную скамейку у фонтана, и Пес узнал ночного студента.

Студент имел такой вид, будто всю ночь продирался сквозь ежевику, а потом как следует вывалялся в грязи. На левой щеке виднелись следы зубов – встретился с кем-то из местных, а как себя прилично вести - не знает, догадался Пес. Очки его, конечно же, так и остались на столе у пивной, он близоруко прищурился, когда Пес подошел ближе.

- Собака, - тихо сказал человек. – Как же я теперь понимаю тебя, собака.

Я теперь тоже получше знаю вашу породу, подумал Пес. Студент свесил покусанные руки с колен и заплакал. У Пса сжалось где-то внутри, в пустом желудке стало жарко и горько. Он подошел ближе, к желобу с водой у основания чаши. Туда тонкой струйкой стекал излишек, прежде чем неспешно исчезнуть в стоке. Пес помедлил еще немного. Тяжело вздохнул, поковырял за щекой языком, плюнул невесомый клок в воду, посмотрел, как тот расправляется и начинает тихонько светиться, а после несильно толкнул носом человека под локоть.

Тот поднял голову, и Пес показал ему – бери, чего ждешь. Человек опустился на колени, зачерпнул обеими ладонями, прижал к лицу. Постоял так, часто и прерывисто дыша, а потом отнял руки. Встал, выпрямился во весь рост и посмотрел на Пса.

- Собака, - сказал он уже совершенно другим тоном, как будто что-то влилось в его голос, так что даже позорный укус на щеке теперь выглядел боевым шрамом. – Собака моя хорошая. Пойдем-ка домой, нечего тебе здесь шляться.

Я знаю, где ты потерял вчера очки, подумал Пес и вильнул хвостом.